себе, что, дескать, грех роптать понапрасну. Быть может, я не жалею себя и не негодую — но «роптать» так и не разучился! Не протянуть руки за плодом, воротить нос от готового блюда — это и значит роптать на судьбу.

Съесть, переварить пищу — это *труд*: какие-то силы вступают в игру, что-то «работает» незаметно или у тебя на глазах, что-то преобразуется... Роптать же — значит тратить энергию: она расходуется — на «ропот»! Можно ли сберечь силы на том, чтобы не есть, не переваривать, не усваивать пищу? Пережить неприятности, через что-то пройти, «приобрести» опыт не имеет ничего общего с настоящей работой. Это только дает тебе *материал* для будущего труда; не хочешь — можешь за него и не браться. Тридцать шесть лет кряду, с того момента, как я впервые столкнулся с миром математиков, я так и поступал: я *избегал* работы, в то время как материал, который нужно было переварить, год от года накапливался. Я без конца откладывал его ради других задач, и все же он дождался своего часа. Чувство освобождения, которое я испытываю со вчерашнего дня — верный признак того, что работа, наконец, завершена. Что же, давно пора!

Конечно, пока ни за что ручаться нельзя: может статься, где-нибудь в закоулках памяти меня подстерегает загадка, до сих пор упорно ускользавшая от моего взгляда. Но верно и то, что чувство освобождения никогда еще меня не обманывало. То надежное, прочное знание, которое оно всегда приносило с собой, было и в самом деле *освобождением.* Оно не улетучивалось со временем, но приживалось, становилось как бы частью меня самого. Я мог бы, если бы захотел, забыть об этом знании, зарыть его в памяти, когда угодно и под любым предлогом. Но оно есть, и уничтожить его не в моей власти: этого не может никто. Спелый плод уже не станет зеленым, и времени вспять не повернешь.

Заново убедиться в том, что ты не лучше других, всегда большое облегчение. Само собою, я и это повторял себе тысячу раз, но *повторять* — совсем не то, что *видеть*! Ребенок в своей невинности видит, как дышит — но взрослому для этого нужно потрудиться, сбросить с плеч привычные заблуждения. Я решился на это, и вот нашел наконец, открыл очевидное; труд завершен. Я *увидел*, что я не «лучше» своих коллег и прежних учеников, и напрасно у меня на днях при одной мысли об их поступках «перехватывало дыхание»! Нет слов, насколько легче мне теперь дышится. Воображать, будто ты лучше других, иногда, пожалуй, приятно, но всегда утомительно. Сколько сил уходит на то, чтобы без конца подтверждать обман, следить, чтобы ветер не разметал воздушные замки! Этого обычно не замечаешь, а все же удерживать повязку на глазах и зажимать уши, когда вокруг бушует гроза и сама очевидность грохочет: «Все это ложь, фальшивка — да взгляни же, глупец!» — требует подчас неимоверных усилий. И тут я действительно сберегаю силы: ведь я мог бы еще не год и не два бродить по кругу, зажимая уши и зажмуривая глаза (надо же было так мучиться!), не умея смириться с тем, что вещи, так бестолково разложенные мною по полкам, то и дело валятся вниз.

Хватит уже кружится на карусели! Тот, кто видит заколдованный круг, уже вырвался из него. Конечно, если хочешь платить, можешь вертеться хоть до бесконечности: это твое право, даже твой долг. Да что там, есть о чем толковать, мне любой скажет: долг это или право — каждый понимает по-своему. Но я так устал от всех этих прав, которые еще и обязанности, от обязанностей, которые в то же время права; с тех пор как я перестал ставить себя выше других, мне они попросту ни к чему. В конце концов, для того, кто лучше других, естественно получать за это скромное вознаграждение (вот оно, «право»): ведь он «платит», он исполняет свой долг, к вящей славе математики и вообще человеческого разума — и это хорошо, это справедливо; честь, разум, математика, лучше не скажешь, браво!.. бис!.. Все это прекрасно, согласен, но и утомительно; от этого, представьте, костенеет шея. Я уже отмучился, с меня довольно: уступаю место другим.

Возвращаясь к моим ученикам — они и должны были превзойти своего учителя. Я возмущался, так что же: значит, впустую тратить силы мне было не жаль. С этого дня — довольно.

Какой груз с плеч!

42. Пожалуй, я даже уверен в том, что без пыли в темных углах не обошлось: что-то я, наверное, все-таки упустил, где-то не прошелся метлой. Не беда, если так: будет время, доберусь и до этих неясных мест — да они, верно, и сами дадут о себе знать. Но «размышления о прошлом математика» как таковые подходят к концу: генеральная уборка, без сомнения, завершена.

Сейчас, лишний раз убедившись в том, что я не лучше других, хорошо бы не запутаться в бесконечной цепочке: не счесть себя *лучше себя самого.* Не вообразить, что *теперь*, когда я добровольно сошел с карусели, и прочая, и прочая, я стал лучше, чем был пятнадцать лет, или дней, тому. Чему-то я научился за прошедшие пятнадцать лет, это верно; за последние пятнадцать дней тоже — и даже вчера я уже успел кое-что о себе узнать. Это значит, что у меня прибавилось зрелости, что я изменился. Но спелый плод не «лучше» зеленого. Времена года не бывают лучше или хуже. Зрелый плод одному покажется слаще, другому — горше зеленого; о вкусах не спорят. Сам я год от года чувствую себя все лучше и лучше — надо думать, происходящие со мной перемены мне «по вкусу»; зато мои друзья и близкие от них не в восторге. Всякий раз, когда я снова берусь за математику, на меня со всех сторон сыплются поздравления типа: «Подумать только, а он еще занимался чем-то другим! Наконец-то он взялся за ум — давно бы так!» Какой-то тревогой, неустроенностью всегда веет от перемен...

Я учусь, набираюсь зрелости, я меняюсь — да так, что подчас с трудом узнаю себя в человеке, о котором мне говорят посторонние люди или же мои собственные воспоминания. Я меняюсь, но что-то во мне остается прежним. Это «что-то» было всегда — с той минуты, когда я появился на свет, а может быть, и раньше. Мне кажется, несколько лет назад я узнал его при встрече — и не ошибся. Я называю его «ребенком». По этому признаку я не лучше и не хуже себя прежнего: ребенок всегда жил во мне, даже если зачастую бывало непросто угадать его присутствие в потемках души. И в том же смысле я не лучше и не хуже любого другого человека на свете. Есть люди, в которых за сто шагов узнаешь ребенка; у каждого бывают минуты, когда его голос в душе слышней. Открытое, ясно ощутимое присутствие ребенка в человеке всегда благотворно. Но это не значит, что человек в такие минуты бывает «лучше» своего ближнего — или себя самого.

Когда я занимаюсь математикой или любовью, или погружаюсь в медитацию, радуется во мне зачастую именно ребенок. Не всегда он один. Но когда его нет на месте, не может быть ни математики, ни любви, ни медитации. Сделать вид, что я все-таки занимаюсь — труд небольшой; но и радости в подобной комедии тоже немного.

Там, внутри, конечно, не только ребенок. Там еще «я», «хозяин», или «большой начальник», называй как знаешь. Без него не обойдешься: во главе предприятия должен стоять хозяин. И с другой стороны — коли есть на свете хозяин, должен же он на что-то годиться. Вот он и следит за хозяйством и, как водится, порою бывает весьма назойлив. Страшно сказать, до чего он принимает себя всерьез и как он выбивается из сил, стараясь быть лучше соседа напротив. Впрочем, сколько бы он ни суетился, он всего лишь хозяин, а не работник. Он организует, распоряжается и, конечно, заведует кассой! Он учитывает прибыль как должное, зато каждый убыток переживает как личное оскорбление. Но он ничего не создает. Создать что-либо может только работник — то есть не кто иной, как ребенок.

Нечасто встретишь предприятие, в котором хозяин и работник ладят между собой. Как правило, от работника, забившегося Бог весть в какой угол, не видно и следов. А хозяин притворяется мастером; о результатах нетрудно догадаться. И нередко, когда работник в самом деле там, на месте, хозяин объявляет ему войну. Будь то драка не на жизнь, а на смерть, сведется ли дело к коротким перепалкам — все равно, от такой мастерской доход невелик! Бывает, что хозяин кое-как, недоверчиво, терпит работника, ворчит себе под нос и не спускает с него глаз ни на минуту. Это та же война, только перемирие в ней возобновляется без конца. Однако, благодаря затишью работнику все же кое-что удается.

Конечно, нельзя поручиться, что мое «собственническое» отношение к математике растаяло в воздухе, как по волшебству, стоило медитации к нему притронуться. Для этого мне по меньшей мере следовало бы поразмыслить более обстоятельно о том, как оно проявлялось в моей жизни. Ведь я успел лишь упомянуть его в разговоре, не останавливаясь на подробностях. Но мое «введение», уже ставшее «вводной главой», и так затянулось — в нем нет места такому тщательному разбору. А все-таки что-то внезапно осенило меня этой ночью: вдруг, в какой-то «вспышке», ко мне вернулось одно воспоминание двух-трехлетней давности. И сейчас мне хотелось бы ненадолго на нем задержаться.

В ту пору я увлеченно работал над чем-то из области математики — сейчас уже не берусь сказать толком, что это был за вопрос. По ходу дела как-то выяснилось (не помню, как именно), что вопрос этот, возможно, кем-то уже рассматривался, и результаты, наверное, можно найти в книжке; оставалось лишь справиться об этом в библиотеке. Кажется, ничего особенного, такое случается. Однако, чуть только я это обнаружил, со мной произошло нечто поразительное: мой интерес к этому вопросу, еще накануне живой и пылкий, вдруг пропал, будто и не бывало. То, над чем я размышлял не одну неделю, над чем был готов, не считая дней, работать и дальше, для меня в одно мгновение перестало существовать! Что это было — досада, раздражение? Нет: просто внезапное и полное отсутствие интереса. Окажись тогда эта книга у меня под рукой, я и не раскрыл бы ее.

Мои подозрения, однако, не подтвердились: этот вопрос до меня еще не рассматривался. Едва я узнал об этом, интерес вернулся ко мне, и я продолжал работать, как ни в чем не бывало. Правда, столь резкие перепады настроения все же несколько сбивали меня с толку. Разумеется, будь мне в самом деле *нужен* ответ на этот вопрос для того, чтобы еще где-нибудь его *применить*, все было бы иначе. Мне не раз доводилось переделывать заново уже известные вещи: о том, что эти вопросы уже решены, я знал или догадывался, но меня это совершенно не беспокоило. Мне было важно «срезать» на дороге, и тогда, чем рыться в книгах или журналах, оказывалось разумнее (а главное, гораздо интереснее) сделать все по-своему, описать вещи в том порядке, в каком они попадались мне на пути. Это я и делал — «на бегу», не сбавляя шага, ведь моя цель была далеко впереди. И, разумеется, я достаточно разбирался в ситуации, чтобы знать наверное: того, что ждет меня в конце пути, еще нет ни в статьях, ни в книгах.

Это лишний раз наводит на мысль о том, что математика, даже если годами заниматься ею в одиночестве, — труд *не* личный, *не* индивидуальный, в отличие, скажем, от медитации. По крайней мере, для меня это так. Когда «неизвестное» в математике влечет меня за собой, оно должно быть неизвестно *всем*, а не мне одному. Если что-то написано в книге, оно уже известно, даже если я о нем никогда не слыхал. У меня никогда не возникало желания прочесть ту или иную книжку или статью: наоборот, я, если только мог, всегда старался этого избежать. В печатном тексте не кроется тайны; его содержание могло вызвать у меня практический интерес, но настоящее влечение — никогда. Это всего лишь интерес, приуроченный к случаю, интерес к *информации*, которая может оказаться полезной. Это — инструмент в достижении желанной цели, подспорье в страсти, но отнюдь не ее предмет.

Взвесив все обстоятельства, я не думаю, чтобы в этой истории как-нибудь проявилось мое ревнивое, собственническое отношение к математике: разочарованное тщеславие, мне кажется, здесь ни при чем. Я не ощутил тогда ни досады, ни разочарования — просто желание узнать и понять, такое сильное за миг до того, внезапно меня покинуло. Ведь это были времена, когда я совершенно не собирался ничего публиковать, и даже не думал, что это еще когда-нибудь может прийти мне в голову. Я работал тогда не из тщеславия — то есть жадного стремления накопить побольше статей, ссылок и титулов, не ради общественного признания. Меня влекло вперед горячее желание, страсть ребенка, поглощенного игрой. И вдруг, в одно мгновение, ничего этого не стало! Разбирайтесь, кто может, а я опускаю руки… Увы — этого мне не понять.

43. Внутреннее убеждение говорит мне, что я, наконец, завершил обзор своей жизни как математика. Конечно, темы я не исчерпал: это заняло бы целые тома (при условии, что такие темы вообще «исчерпываются»). Но я к этому и не стремился. Я ставил себе целью понять, нет ли и моей вины в том, что в математической среде возникло известное настроение умов — «дух», который теперь ко мне временами приносит ветер издалека — и если да, то как именно. Ответ на этот вопрос я нашел, и довольно. Заманчивая идея — пойти дальше по этой дороге, углубиться в неизведанное, порой лишь намеком затронутое в разговоре. На свете столько всего интересного: смотри, открывай, твори! Что же до моего прошлого как математика — мне кажется, я сделал все, что *должен* был сделать, чтобы его принять.

Конечно, углубившись в размышление о прошлом, я узнал бы немало интересного и о своем настоящем. В ходе этой работы я и так замечал почти на каждом шагу, до какой степени я все еще связан с прошлым. Я и не подозревал до тех пор, как мне важно, что я тогда собой представлял и какими были мои отношения с другими людьми — в особенности, с теми, с кем я так или иначе расстался. Несомненно, разобравшись в этом, я стал воспринимать свое прошлое по-новому: более отстраненно и как-то легче, быть может. Будущее покажет. Но не исключено, что связь сохранится, пока не догорит сама собою моя страсть к математике — до тех пор, пока я не оставлю своих занятий. Доведется ли мне пережить эту страсть? К чему гадать: меня это не заботит.

Одно время (больше десяти лет кряду) я думал, что эта страсть и впрямь утихла во мне. Вернее, я *объявил* сам себе, что ее больше нет. Но в тот день, когда я все же решил ненадолго отложить дела, чтобы продумать кое-что в математике, целый мир открылся мне заново! Три или четыре года после этого я был слишком поглощен другими делами, так что моя старинная страсть, вероятно, не находила лазейки, чтобы ко мне пробраться. То были годы, когда я учился много и напряженно — а все же знания, которые я получал тогда, были неглубоки. Позднее страсть к математике стала возвращаться ко мне наплывами, всякий раз тогда, когда я меньше всего ее ожидал. Приходя, она держалась по несколько недель, иногда месяцев; я же, со своей стороны, упорно не желал понять, что же со мной происходит. Ведь я решил раз и навсегда, что любовь к математике — вещь пустая, ни на что не годная, что отныне я перешагнул через нее и в прошлое нет возврата! Однако, эта «пустая, ни на что не годная» вещица, кажется, не расслышала моего приговора, да и я сам, похоже, сделался туг на ухо и не всегда внимал его суровому голосу.

В 1976 году я открыл для себя медитацию, и в моей жизни появилась новая страсть. Как раз тогда же — казалось бы, парадокс — приливы моей прежней страсти заметно усилились. Математика выплескивалась в мою жизнь резко и неудержимо, как если бы где-то внутри, под давлением пара, прорывало котел. Но я старался не думать об этом. И лишь пятью годами позже, под влиянием определенных событий, я решил разобраться в том, что же со мною происходит. Никогда до тех пор я не размышлял так долго над четко очерченным, с виду не таким уж глубоким вопросом: медитация продолжалась шесть месяцев кряду. То был труд упорный и напряженный, я чувствовал, что мне предстоит исследовать гораздо больше, чем можно было ожидать с первого взгляда. Подводная часть айсберга оказалась огромной — а ведь я взялся (и то, чуть ли не против воли) изучать его лишь тогда, когда его верхушка чересчур разрослась и стала докучливо маячить на горизонте. Пришлось признать, что *конфликт* налицо: все как будто свидетельствовало о том, что две силы, два стремления — к медитации и к математике — в моей душе спорят между собой.

В ходе этой медитации, шаг за шагом, картина для меня прояснялась. Я понял, что страсть к математике, которой я пренебрегал, и страсть к медитации, которой я шел навстречу с открытым сердцем, были, по сути, одним и тем же — желанием ребенка. Пренебрежение, скромная гордость достигнутым, — все это идет от хозяина, от большого начальника, и никогда — от ребенка! Желания ребенка час от часу, день ото дня сменяют друг друга, как движения в танце: одно дает начало другому. Такова их природа. Они ладят между собою, как куплеты в песне, как в фуге — противостоящие друг другу голоса. Плох тот дирижер, который объявит одну тему «дурной», а другую — «хорошей», творя раздор там, где должна быть гармония.

После этой медитации хозяин присмирел, и охоты совать нос не в свое дело у него поубавилось. На сей раз работа оказалась долгой, хоть я и думал, что она займет всего несколько дней. «Результат» явился, как очевидность — короткая фраза в несколько слов ([37]). Но если бы те же слова я услышал со стороны, от какого-нибудь проницательного советчика, до того как завершилась работа, мне бы это нисколько не помогло. Если мне пришлось трудиться так долго, значит, внутреннее сопротивление на этот раз было особенно сильным и поднималось из глубины. Хозяин, впрочем, был всем этим сыт по горло и не подавал голоса — дело происходило в такой обстановке, что у него просто не было возможности вмешаться. Я убежден, что эти шесть месяцев потратил не даром, и экономить время здесь было не на чем. Выносить плод требует и сил, и труда; может ли женщина сберечь хоть один месяц из девяти, перед тем как произвести на свет такую «очевидную» вещь, как мальчишка?

44. Скоро будет полтора года, как я не занимался медитацией — разве что однажды в декабре несколько часов размышлял над вопросом, потребовавшим срочного разрешения. И вот уже год я отдаю математике почти все свое время и силы. Эта математическая «волна» пришла, как вообще приходят волны: захлестнула, ворвавшись без стука. Волны математики и медитации всегда являются ко мне нежданными — если они и пытались меня предупредить, я ни разу их не услышал! Хозяин, похоже, втайне отдает предпочтение медитации: всякий раз, когда приходит эта волна, мне кажется, что это окончательно, навсегда; когда же ее сменяет волна математики, я ожидаю ее отлива через несколько дней. Но она, бывает, держится месяцы, а то и годы — как знать заранее? Правда, хозяин, наконец, понял, что он здесь ничего не решает, и что тщетные попытки задать ритм непослушной стихии не принесут ему выгоды.

Но не изменил ли хозяин своей привязанности? Ведь уже почти год, как решено и записано, что я «возвращаюсь в математику» по крайней мере на несколько лет. И решено, так сказать, официально: я даже подал заявление на должность сотрудника в CNRS! Более важно и совершенно неожиданно для меня то, что я снова стал думать о публикации своих работ. Даже после медитации 1981 года, о которой я только что говорил, мне, хоть я и перестал смотреть на математику, как на бедную родственницу, и в голову не пришло бы послать что-нибудь в печать. Разве что книгу о медитации, или о мечте и Мечтателе, занимавшим тогда все мои мысли? Но я был слишком занят размышлениями, чтобы еще браться за книгу. Да и зачем?

Итак, это было довольно важное решение, определившее ход моей жизни на ближайшие годы. Я принял его как-то незаметно для себя, не могу сказать толком, как и когда именно. В один прекрасный день, когда у меня накопилась изрядная стопка машинописных заметок (позвольте, позвольте: до тех пор я всегда записывал свои мысли о математике от руки…([38])) о стэках, гомотопических моделях и проч., вдруг оказалось, что это дело решенное: будем публиковать! А если уж браться за дело, то от души: стало быть, я начинаю небольшую серию математических раздумий. Название готово, остается лишь вывести прописными буквами: «Размышления о математике»! По крайней мере, так мне это вспоминается сейчас — как всегда, сквозь туман. И вспоминается на сей раз немного, нельзя не признать. Но вот что примечательно: в тот момент, когда я принимал решение вернуться в математику, я даже не остановился, не призадумался, куда я иду, что меня ведет и влечет — кажется, стоило лишь *взглянуть*… Пожалуй, мне хотелось бы сделать это сейчас, пока эта медитация, явившись неожиданно для меня, не подошла к концу: тогда я буду уверен, что она в самом деле завершена.

Вот вопрос, который сразу приходит на ум: о чем свидетельствует эта «примечательная» небрежность с моей стороны? Что это — «деликатность» хозяина, который ни за что на свете не желает нарушить (пускай одним лишь нескромным взглядом) естественный ход событий, ибо ему нет в том нужды и проч.? Или же это, напротив, знак того, что хозяин решился грубо вмешаться и повернуть дело в пользу математики? Быть может, его «личные пристрастия» на сей раз качнулись в другую сторону?

Стоит лишь черным по белому записать вопрос, как ответ приходит сам собой! Конечно же, это не мальчишка: тот, увлекшись игрой (которая, быть может, окажется длиннее других), не станет назначать себе время — играю, дескать, столько-то лет без передышки — и благоразумно рассчитывать, сколько страниц остается написать, чтобы вышло приличное собрание томов под крупным, внушительным заголовком! Это хозяин: он все организует и все предусматривает; мальчишка его просто послушался. Быть может, он большего и не попросит, тут не скажешь заранее — да это и неважно. Ведь желания мальчишки во многом зависят от *обстоятельств*, а их определяет прежде всего хозяин.

Итак, ясно, что выбор сделал хозяин. Впрочем, сейчас он проявляет некоторую мягкость: вот уже больше месяца эта медитация продолжается у него под носом, и он смотрит на нее вполне благосклонно. Правда, его доброжелательность отнюдь не бескорыстна: медитация принесла ему вполне ощутимый доход. Ее результат, записки, которые я сейчас составляю, станут отличным краеугольным камнем для башни, которую уже возводит для него работник-ребенок. Обтесывая, изящно шлифуя камни, мальчишка явно не унывает. Но что до хозяина, то его, похоже, слишком рано хвалить за «мягкость»! Несколько часов медитации три месяца тому назад и больше ничего — за полтора года! Пожалуй, это даже скуповато.

Однако, мне не кажется, что все это время я подавлял в себе стремление к медитации, что оно не находило себе выхода. Тогда, в декабре, мне хватило этих нескольких часов, чтобы получить ответ на свои вопросы и увидеть все, что нужно было увидеть. Ситуация прояснилась и уже тем самым стала иной. Возвратившись после этого к математике, я не бросил другого дела на полпути. Вспыхнул ли снова в моей душе, разрешенный было два года назад конфликт между «моей прежней и новой страстью» (только на этот раз они поменялись местами)? Думаю, что нет. Хозяин вправе иметь пристрастия, так он устроен — глуп тот, кто попытался бы ему это запретить (хотя кое-кто способен и не на такую нелепость…). Несправедливость хозяина — еще не признак конфликта, хотя нередко его причина. В моем случае, все тщательно взвесив, я уж готов простить хозяину недостаток мягкости.

Итак, остается последний вопрос: о «побуждениях» хозяина. Зачем ему понадобилось так резко переменить курс? Это произошло на удивление незаметно, но результат, если присмотреться поближе, ошеломляет.

45. Это немедленно возвращает меня к медитации, которую я начал в июле и закончил в декабре 1981 года. В предшествовавшие ей четыре месяца я бредил, и бредил неистово, одной лишь математикой. Из этого состояния, слегка безумного (впрочем, весьма плодотворного с точки зрения математики ([39])), меня вывел приснившийся мне одной декабрьской ночью удивительный сон. Он был, как рассказ, как притча о том, что тогда происходило в моей жизни — притча о математическом неистовстве. Он произвел на меня невероятное впечатление: поток образов вливался в душу с какой-то яростной, неудержимой силой. Мораль притчи явилась в конце с ослепительной ясностью. Мне, однако же, пришлось провести два дня в напряженной работе, чтобы понять и принять ее очевидный смысл ([40]). После этого я уже знал, что я должен был сделать. За все шесть месяцев работы я к этому сну больше не возвращался. И все же, по сути, все это время я занимался лишь тем, что старался полнее охватить его смысл, усвоить его и им проникнуться. В первые дни после того, как этот сон мне приснился, я мог истолковать его лишь в общих чертах — грубо, поверхностно. Мне предстояло прежде всего разобраться в том, как я сам — то есть хозяин во мне — воспринимал каждое из своих двух стремлений (к медитации и к математике), как мне тогда казалось, противостоявших друг другу.

Столько всего в моей жизни произошло с тех времен, что та медитация вспоминается мне, как событие далекого прошлого. Конечно, тогда, размышляя о причинах, побудивших хозяина принять то или иное решение, я многое понял. Если попытаться передать словами то, что осталось у меня в памяти, получится вот что: все двенадцать лет, истекших с момента моего «первого пробуждения» (в 1970 году) хозяин явно «ставил не на ту лошадь». *Выбирая между математикой и медитацией* (на которые он предпочитал смотреть, как на соперниц), *он остановился на медитации.*

Это не совсем точно: ведь медитация вошла в мою жизнь лишь в октябре 1976 года. Тогда же я подобрал для нее верное слово: до тех пор мои размышления носили несколько иной характер, и нельзя было сказать, что я именно «медитировал». Как бы то ни было, в 1970 году я увидел, как мало соответствует действительности мое представление о себе самом — образ, которым я дорожил — и пересмотрел его, а точнее, перерисовал заново. И в этом смысле медитация, шестью годами позже, явилась весьма кстати. Ее неожиданная вспышка по контрасту оттенила нечто в моем характере (подробно исследовать это свойство я сумел лишь позднее, как раз в 1981 году). Речь идет о некоей установке, или позе, к тому моменту отнюдь не новообретенной. Тогда я назвал ее «синдромом учителя». Некоторые говорили мне о ней (и не без причины), как о «позе Гуру». Если я предпочел первое название второму, то, без сомнения, именно потому, что оно позволяло мне надежнее скрывать от себя самого сущность явления — так мне было спокойнее. Учить мне действительно нравилось всегда, с самого раннего детства; при этом, естественно, учиться сам я любил не меньше, и никакой позы в этом не было. На том же основывались мои отношения с учениками: пусть поверхностные, они все же были прочными и здоровыми, в них не было позы. Но после 1970 года математический мир, такой знакомый и привычный, отошел для меня далеко в сторону и только что не пропал за горизонтом. Вместе с ним исчезла и возможность «преподавать», то есть передавать знания, в которых я сам видел бы смысл и ценность. Тогда «хозяин» постарался выгадать и на этом: вместо того чтобы преподавать математику (толку в ней немного — разве что заработать на жизнь), я, как мне теперь и подобает в моем духовном величии, буду учить людей своим мудрым примером. Разумеется, мне хватало осторожности, чтобы ни себе, ни другим не говорить этого прямо. Когда мне говорили об этом другие, я, конечно же, им не верил: такое непонимание со стороны друзей и близких меня искренне огорчало. В самом деле, сколько можно им объяснять, они не желают ничего слышать — и откуда только берутся такие бестолковые ученики!

Одна или две книги Кришнамурти, которые я прочел тогда же, произвели на меня сильное впечатление. Я не замедлил перенять и усвоить (не сердцем, но рассудком) определенные истины и ценности ([41]). После этого я вообразил, что знаю все на свете (хотя, конечно, сам себе в этом не признавался). Читать его книги и дальше мне не было необходимости: я сам научился говорить и писать языком Кришнамурти — гладко, последовательно, на любую тему. Речи мои текли плавно, но пользы от них не было ни мне, ни другим. Это продолжалось годами, но я ничего не замечал, как нарочно. С открытием медитации мой язык быстро и совершенно очистился от наносного жаргона. Тогда я понял, чем настоящее знание отличается от красивых, пустых речей.

Большой начальник спохватился мгновенно: Кришнамурти уходит со сцены — вперед, медитация! Само собой, теперь ему приходилось играть осторожнее, брать не силой, но хитростью и сноровкой. Времена изменились, мальчишка начал отбиваться от рук и стал что-то слишком остер на глаза. Надо думать, в момент хозяйского выбора он отвлекся и не заметил уловки. Как бы то ни было, он понял, что его снова заключили в заколдованный круг, лишь пять лет спустя: внутренние противоречия накалились, взорвался какой-то котел, и работник срочно побежал взглянуть, в чем дело.

Произошло это, в конце концов, не так уж давно, чуть больше, чем два года назад. Гуру (который делал вид, что это не он) все же вывели на чистую воду, хитрые фокусы с переодеванием и чужими масками были разоблачены. Бедный хозяин остался голым. Иначе говоря, лошадь «Медитация», занявшая место своей безымянной товарки (не назвать же ее «Кришнамуртией», в самом деле!), в среднем приносила смехотворно малый доход. Куда уж ей было сравниться с резвой «Математикой» (из тех далеких времен, когда она была любимицей хозяина)! Хозяин же, видя это, еще долгое время оставался верен своему выбору, предпочитая медитацию — чисто по инерции. Ведь в 1970 году, когда он в первый раз менял свои ставки, его принудили к этому чрезвычайные обстоятельства, с которыми решительно было не совладать ([42]). Хозяева вообще не любят резких перемен, и уж во всяком случае предпочитают не отступать на прежние позиции.

Начиная с 1973 года, когда я удалился в деревню, доходы от новой лошади (по сравнению с прежней) сделались уж совсем скудными. Медитация, неожиданно вступив в игру три года спустя, немного по-правила положение. Был даже момент головокружительного подъема в июле 1979 года (здесь я не стану долго задерживаться на этой истории). Тогда я снова облачился в ризы проповедника: на сей раз я готовился нести людям некую мудрость, новую — и старую, как мир. Я воспел ее в стихах, которые собрался было нести в печать, но под конец все же раздумал ([43]). Но прошло два года; Гуру уже явно никуда не годился, и хозяин снова начал бедствовать: доходы шли резко вниз, а лошадка, видимо, подвернула ногу. Ловкость тут не поможет: хоть на голову становись, а Гуру тебе уже не сыграть!

После этого перемены уже не заставили себя ждать. Кобыла о трех ногах заодно с поэтом-проповедником, Гуру-не-Гуру и Кришнамурти-который-не-смеет-открыть-свое-имя отправляются на покой. И — ура Математике!

Интересно, что будет дальше…

46. Мне пришлось на два дня отложить записки. Вернувшись к ним, я все внимательно перечел и думаю, что предложенный в них сценарий более или менее соответствует действительности. Однако кое что здесь следует уточнить. Было бы полезно сравнить достоинства обеих «лошадок» (медитации и математики) и попытаться понять, какие же конкретно события или обстоятельства вынудили хозяина «скачком» переменить ставки. Ведь преодолеть инерцию духа, стремящуюся к бесконечному (пускай и губительному) однообразию, ему заведомо было непросто.

Неплохо было бы разобраться и в том, чего хочет сам мальчишка. Сейчас уже ясно, что ему, в общем, не сидится на месте: он любит менять игры время от времени. И хозяин, кажется, наконец стал умнее: он понимает, что нужно иногда уступать, и больше не принуждает ребенка-работника без конца играть в одну и ту же игру. В последние годы он научился считаться с мальчишкой, давать ему волю, прислушиваться к нему, не дожидаясь, когда взорвутся котлы. Это не дружба, но и не война — скорее, что-то вроде полюбовного соглашения. В мастерской улучшился «климат»: если и соберутся кое-где тучи, то ветер развеет их до грозы.

Мальчишка, если его не слишком притеснять, становится податливей. (Хозяин не таков: он лишь на старости лет сделался немного мягче, да и то поневоле…) Выбирая игру, он готов уступить хозяину — но это не значит, что у него нет любимой игры. Мечтает он, как правило, о чем-то одном.

Зачастую не так уж легко отличить желания мальчишки от хозяйских пристрастий (не говоря уже о том, что хозяин и сам далеко не всегда следует зову своих пристрастий: иногда он, в силу природной инертности, просто решает раз и навсегда на чем-либо остановиться).

Когда я говорил себе: медитация лучше математики, она важнее, серьезнее и проч. по таким-то и таким-то причинам (разумеется, самым что ни на есть убедительным), — эти рассуждения шли от хозяина. Это он задним числом всячески старался уверить себя в том, что сделал «правильный» выбор. Ведь мальчишка не станет разглагольствовать о том, что одна игра «важнее» или «лучше» другой. Если ему хочется что-то сделать (и когда никто ему не мешает), он просто идет и делает, не спрашивая себя, «важнее» ли, «лучше» ли прочих эта работа. Иногда ему хочется заняться одним, иногда — другим. Для того чтобы понять, о чем он мечтает в ту или иную минуту, незачем прислушиваться к солидной болтовне хозяина: этот пожилой господин отвечает лишь за себя. Понять, чего хочет малыш, можно, лишь наблюдая его за игрой. Но даже если он сейчас работает с удовольствием, кто поручится, что за другое дело он не принялся бы с восторгом? Быть может, не приложи тут руку хозяин, ребенок выбрал бы совсем иную игру.

Ясно, что больше всего на свете он любит *тайны*. Что может быть увлекательнее, чем, пробираясь по темным, заповедным лабиринтам неразгаданной ночи, разыскать нечто неслыханное, неизвестное, захватить с собою и вынести на свет? Всего интереснее для нас нераскрытые тайны, о которых не знает никто — и здесь, мне кажется, дело не в честолюбии хозяина (который любит похвастаться находками), а в чисто мальчишеском азарте работника. К тому же, мальчишку, ясное дело, влекут во мрак неисчерпаемых погребов да чуланов самые незамысловатые, «очевидные» вещи, — словом, детские игрушки. Чем они ярче («очевиднее»), тем малышу веселей. А если они кажутся сложными, если их очертания не ясны, значит, он просто еще не вынес своих сокровищ из темноты чулана, задержавшись на полдороге.

В математике «очевидные» вещи — это те, на которые *непременно*, рано или поздно, кто-нибудь да наткнется. Другое дело — выдумки, изобретения: появятся они или нет, решает случай. А те вещи, о которых я говорю, уже есть и были всегда. Люди проходят мимо, их не замечая — иногда, как нарочно, обходя кругом. А порой, споткнувшись о такой вот дорожный камень (но по-прежнему не желая взглянуть себе под ноги), с досадой уходят прочь. И все же, через год или тысячу лет, кто-нибудь да выхватит эту диковинку взглядом из темноты. Прохожий человек остановится, обойдет находку со всех сторон, поднимет и осмотрит, очистит ее от земли и, наконец, даст ей имя. Такая работа — по мне, я люблю ее больше всего. Она равно открыта для всех: чудесные находки ждут случайных прохожих, и все, что я сделал в математике, мог бы сделать другой. Не только мог бы: рано или поздно сделал бы *обязательно* ([44]).

Но с открытием самого себя дела обстоят иначе, ибо в игре под названием «медитация» может быть только один участник. Никто другой здесь за меня ничего не сделает — ни завтра, ни через тысячу лет. В этой области лишь я могу открыть, а значит — *принять* очевидное. Тайны, заложенные во мне, могут так и остаться тайнами (в отличие от математических загадок, которые сами собою, хотим мы того или нет, раскрываются у нас на глазах). Они тоже ждут своего часа, и, когда приходит пора, я слышу их зов — но обращен он лишь ко мне одному, к ребенку во мне. Это совсем не то, что в математике, где вещи бывают неизвестными лишь до срока, и по большому счету их судьба решена. Конечно, на зов можно и не откликнуться, сказать: «завтра» или «как-нибудь». Но кроме меня никто на свете его не услышит и не пойдет на голос издалека.

Зато когда следуешь этому призыву, происходит нечто особенное. Если говорить о душе человека — мастерской, где совершается работа — то я бы сказал, что *нечто меняется внутри самого предприятия.* Перемены происходят мгновенно и сразу ощущаются как некое благо. Иногда с ними приходит чувство внезапной свободы, ни с чем не сравнимого облегчения, словно привычный груз, о котором я и сам давно позабыл, неожиданно падает с плеч. И по тому, как легко вдруг становится на душе, ты судишь о его тяжести. Что-то похожее, конечно, случается во всякой работе — открытие приносит освобождение (хотя в медитации оно ощущается намного острее), об этом я уже говорил. Но здесь есть качественное отличие, и оно именно в том, что, когда открываешь тайну в себе самом (независимо от того, какой дорогой ты приходишь к открытию), дела в мастерской начинают идти иначе. Я говорю не о «производительности труда», не о «новом ассортименте» и даже не о «качестве выпускаемой продукции». Нет, здесь речь идет о перемене *в отношениях между хозяином и работником.* Сказать ли, что характер у хозяина становится лучше? Пожалуй — если вообще можно говорить о хозяине отдельно от работника. Скажем, он становится менее придирчив — а впрочем, к кому же ему и придираться, как не к мальчишке! Он начинает заботиться о работнике, уважать его, быть может — вещи, прежде неслыханные. Медитация всегда приносила мне внутреннее *успокоение*: благодаря ей *прояснялись* (и уже тем самым смягчались) отношения между работником и хозяином. Конечно, бывали случаи, когда мой труд на поверку оказывался неглубоким, а принесенный им мир — недолговечным. Но в целом, когда я брался медитировать «по необходимости» (чтобы разрешить тот или иной срочный вопрос), ясность и спокойствие, являясь в конце работы, уже не покидали меня.

Это придает открытию себя особый *смысл*, отличая его от прочих видов творчества, хотя в остальном все они, по существу, сходны. Предаваясь медитации, выходишь в новое измерение, и никакие другие пути туда не ведут. Быть может, это и есть *запретный плод* с Древа Познания. К нему-то, может статься, я и стремлюсь, блуждая в потемках собственной души. Я переступил порог, за которым страх исчезает. Теперь, кроме инерции духа, других препятствий на пути к познанию не осталось. Инерция может заметно затруднять движение, но она не бесконечна, и ее всегда можно преодолеть. Подчас в борьбе с нею я теряю терпение, но никогда не опускаю рук. (В математике есть та же инерция, но там она действует несравнимо слабее.) Ребенок, играя, всегда преодолевает препятствия. Инерция духа всерьез вступает в игру — я бы даже назвал ее в числе участников. Игра тонкая, воистину неравная; двое — нет, пожалуй, трое игроков состязаются в ней. По одну сторону черты — ребенок, который рвется вперед, и с ним хозяин (он олицетворяет инерцию). Хозяин сдерживает ребенка, как только может (а делает вид, будто, напротив, поощряет его порывы). По другую же сторону лишь угадываются туманные очертания прекрасной, неведомой тайны, многоцветной и многоликой. Она, кажется, подходит так близко — и тут же исчезает далеко впереди, прячется в темноте и зовет, и манит издалека…

47. К медитации меня влекла довольно мощная сила — как та, что в свое время вела меня к женщине. (Страсть к медитации словно бы пришла на смену влечению пола во мне.) Я написал «влекла» не потому, что этого влечения больше нет. Весь последний год я занимался математикой, и все же тяга к самопознанию меня не оставила: она лишь отступила на время, оказавшись «за кадром». Опыт подсказывает мне, что медитация и математика могут в любой момент поменяться местами: ведь именно это (совершенно неожиданно для меня) произошло год назад, когда математика вышла на первый план. В моей жизни до сих пор было четыре долгих периода медитации (один из них продолжался почти полтора года). И всякий раз я был уверен в том, что до конца моих дней ничто не отвлечет меня от этой работы — думать о жизни, разгадывать тайны человеческого бытия. Глубоко погрузившись в медитацию, я писал, едва поспевая за мыслью. Когда же стопки исписанной бумаги разрослись до угрожающих размеров, я стал подумывать о том, чтобы обзавестись полками: в углах моего кабинета определенно не хватало места. Полок, по моим расчетам, требовалось немало: я дал себе еще пятнадцать лет жизни (конец этого срока уже не за горами!) и, быстро оценив в уме арифметическую прогрессию, обнаружил, что хранилище для моих настоящих и будущих заметок должно быть весьма вместительным. Тут, конечно, чувствуется рука «хозяина»: всему нужен учет, и хозяйство следует вести основательно! Тщательный разбор личных бумаг, более или менее непосредственно связанных с медитацией, подшивка папок, размещение их по полкам — вот последнее, что хозяин предпринял и более или менее довел до конца перед тем, как резко переменить ставки. Да верно ли, что все это он делал без задней мысли? Глядя на книжные полки, предназначенные, по его словам, будущим «Запискам», не расставлял ли он на них в своем воображении солидные тома «Размышлений о математике»?

Бесспорно, одной лишь страсти к медитации, к открытию себя, хватило бы, чтобы заполнить всю мою жизнь вплоть до последнего дня. Правда и то, что страсть к математике по-прежнему жива во мне — но этот голод, может статься, еще утихнет в ближайшие годы. В глубине души я, возможно, был бы этому рад: математика иногда видится мне помехой на пути к познанию себя — дороге, открытой лишь для меня одного. И мне кажется, что это чувство идет *не* от хозяина. Конечно, его мелкие прихоти по природе своей противоречивы: поощряя математику вслух, он может про себя брюзжать на нее. И все же я думаю, что здесь дело не в этом. Мне кажется, что эта лошадка, страсть к математике, слишком явно несет на себе клеймо хозяина. Во всяком случае, долго идти за ней значит — без конца вертеться по кругу. Пойти по пути наименьшего сопротивления, не решаясь преодолеть *инерцию* духа — легкомысленный выбор. Дороги, замыкающиеся кольцом, к обновлению не ведут.

Я все спрашиваю себя, в чем же смысл того, что страсть к математике по-прежнему так настойчиво врывается в мою жизнь. Ведь она сама по себе не в состоянии наполнить ее до конца. Принося с собою радость и удовлетворение, она не развивает души и не рождает гармонии чувств. Напротив, как это всегда бывает с чисто умственной деятельностью, математика, если заниматься ею слишком долго и напряженно, *огрубляет* чувства, так что восприятие мира теряет естественную остроту. Я замечал это в людях, и прежде всего в себе всякий раз, когда надолго уходил с головой в математику. Этой работе недостает цельности, в ней есть что-то незавершенное: от интуиции, от природной восприимчивости человеческого духа в ней присутствует лишь бесконечно малая доля. А ведь интуиция — не инструмент, но живая сущность, если не обращаться к ней, она черствеет и умирает. Долгое время я этого не понимал — и в большинстве своем мои коллеги, по-видимому, тоже не отдавали себе в этом отчета. Мне кажется, только в ходе медитации можно увидеть это и почувствовать ясно. Да что там, стоит лишь взглянуть, как очевидное бросается в глаза: *математика отупляет, когда предаешься ей, не зная меры.*. Два с половиной года назад, размышляя о своей страсти к математике, я признал за ней право на существование и понял, что она — и вправду желание ребенка, а не прихоть хозяина. Но и теперь, когда положение вещей прояснилось, я не спешу предаться этой страсти безоговорочно, целиком: какой-то барьер остается. Я знаю, что «предаваться ей совершенно» — значит бежать от действительности и от себя самого. Такая «жертва» немногого стоит.

Но по отношению к медитации никакого барьера, никакой настороженности во мне нет. Этой страсти я предаюсь всем сердцем, без каких-либо оговорок. Я знаю, что в такие минуты я пребываю в полном согласии с самим собой и с миром вокруг: «Я есмь Дао», верный своей природе. Отдавая все свои силы медитации, я приношу дар во благо себе самому и целому миру. Такой труд раскрывает мое сердце навстречу ближнему и мягко, любовно снимает путы с души.

Благодаря медитации я становлюсь более открытым в отношениях с людьми: она помогает снять ненужную напряженность. Но случай обсудить с кем-нибудь труд медитации как таковой, поговорить о том, что мне открылось в ходе работы, выпадает нечасто. И вовсе не потому, что о таких «личных вещах» говорить не принято. Вот пример (быть может, не самый удачный): я могу обсуждать то, что в данный момент интересует меня в математике, только с коллегой, который к тому же достаточно осведомлен в соответствующей области — и то при условии, что его научные интересы совпадают с моими. Мне доводилось годами увлеченно работать над теми или иными математическими вопросами, не встречая вокруг никого, с кем я мог бы поделиться своими мыслями (я, впрочем, и не искал таких встреч). Но если бы я нарочно постарался, то, без сомнения, нашел бы подходящего собеседника — разве что мне просто не повезло бы в силу каких-либо особых причин. Я знаю наверное: если что-то живое и настоящее пробудило мой интерес, значит, в свой срок оно позовет за собой и другого, а то и многих других математиков. Когда это будет — через десять ли, через сто лет — по сути, не так уж важно. Это придает смысл моему труду, даже когда я работаю в одиночестве. Если бы в мире, кроме меня, не было математиков, если бы они вдруг исчезли навсегда — тогда, думается мне, математика потеряла бы для меня всякий смысл. Я почти убежден в том, что, спроси я об этом любого ученого, он подтвердил бы мои слова: наука живет связью между людьми и преемственностью поколений. И не зря я несколько раньше говорил, что для меня «тайна» в математике — лишь то, что еще *никому* не известно: здесь речь идет не о том, что может знать или не знать один человек, но о всеобщей, коллективной реальности. *Математика — давняя общечеловеческая игра*, из тех, что люди ведут уже которое тысячелетие.

Конечно, в случае медитации вопрос о «достаточной осведомленности» собеседника отпадает. Я сам до сих пор не накопил никакого «предварительного запаса знаний» в этой области и сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдет. Здесь важно одно: чтобы моему собеседнику, как и мне, было интересно об этом поразмыслить. То есть речь идет о том, любопытно ли человеку понять, что же на деле скрывается в душе (его ли, или его ближнего) за ширмой общепринятых приличий — едва ли у многих загорятся глаза при мысли о подобных сокровищах. Я уже успел убедиться в том, что «минуты откровения» в жизни человека, когда он видит воочию эти тайны за ширмой и хочет их разгадать, как правило, редки и мимолетны. Многие, что называется, «интересуются психологией»: то есть прочли Фрейда, Юнга и массу всего прочего — с тех пор их хлебом не корми, дай только поддержать «интересную дискуссию». Они как раз накопили определенный запас знаний — кто больше, кто меньше. Это то, что принято называть «культурой». Из таких кирпичиков они составляют представление о самих себе, с успехом заслоняющую от них действительность — картину, на которую они остерегаются бросить взгляд, точь-в-точь как те, кто интересуется математикой, летающими тарелками или рыбной ловлей. Это не та «осведомленность», не тот «интерес», о которых я говорил: одни и те же слова обозначают здесь вещи различной природы.

Иначе говоря, *в такую игру, как медитация, играют поодиночке.* Прежде всего нужно остаться наедине с собой: в этом суть медитации, ее природа. И дело не только в том, что самый *труд* медитации происходит в уединении: я думаю, то же верно для всякого творчества, в том числе и для совместной работы (даже если людей объединяет общая цель, все равно каждый трудится сам по себе). Но *знание*, которое приносит медитация — столь же «уединенное», как и труд, ведущий к нему. Это знание не может стать *общим*, и тем более его нельзя никому «передать»: его, как чувство, удается разделить с кем-нибудь лишь в самые редкие минуты. Этот труд, это знание восстают против общепринятых представлений, особенно глубоко укоренившихся в нас, вызывая тревогу у всех и каждого. Это знание, безусловно, можно изложить простыми и ясными словами. Подбирая их, я не перестаю учиться и узнавать: ведь это часть работы, и более чем увлекательная. Но те же самые слова, наткнувшись на стену безразличия или страха, ничего не скажут другому. Даже язык мечты, яркий, пестрящий бесконечными образами, беспрестанно обновляемый неутомимым, веселым Мечтателем, не разрушит этой стены.

Без уединения нет медитации. Если ты делаешь что-либо в расчете на одобрение, поддержку, поощрение с чьей бы то ни было стороны, если в голове промелькнула хотя бы единая мысль о подобном «вознаграждении» — это все что угодно, только не открытие себя, не труд медитации. То же справедливо для всякого творчества — тут не поспоришь. Но когда работа завершена, одобрение близкого или коллеги, или всей твоей профессиональной среды, для тебя важно: оно оправдывает усилия и придает смысл твоему труду. Это — один из мощнейших стимулов, побуждающих «хозяина» (если вернуться к этой системе образов) без разговоров отпустить мальчишку заниматься тем, что доставляет ему сердечную радость. Такая «награда» в основном и определяет выбор хозяина. Так это и было со мной в математике: доброжелательный прием, теплая поддержка со стороны Картана, Шварца, Дьедонне, Годемана и, позднее, других математиков укрепляли мою решимость трудиться на этом поприще. В области медитации, напротив, подобных стимулов просто не существует. Медитация — страсть мальчишки; хозяин, по сути, терпит ее из милости. Ведь *она не приносит выгоды.* Она дает совсем не то, о чем мечтает хозяин. Его надежды на медитацию — не более чем самообман: по зрелом размышлении он и сам не стал бы на нее ставить. Хозяин любит общество, он стадное животное.

И только ребенок одинок по своей природе.

48. Вчера, говоря о том, что медитация — это игра для одиночек, я вдруг подумал об этих самых записках, которые пишу уже почти шесть недель. Понемногу они превратились в медитацию, то есть в «уединенное знание» — а с другой стороны, я ведь собираюсь их опубликовать. И это во многом повлияло на ход работы: например, я стал заботиться о краткости и точности изложения. Кроме того, размышляя о прошлом, я слишком редко оглядываюсь на себя «в настоящем»; но ведь постоянное (и отнюдь не поверхностное) внимание к тому, что происходит в твоей душе в момент работы — неотъемлемая часть труда медитации. Эти недостатки, без сомнения, должны были сказаться на том, как складывается мое представление о действительности, на «качестве» моего труда. И все же я чувствую, что это настоящая медитация: то, что дает мне эта работа, вполне однозначно свидетельствует о ее природе. Ко мне приходит некое знание о себе самом (прежде всего, знание *из прошлого*), которого я до сих пор избегал. Размышление протекает свободно, естественно: совершенно неожиданно для себя я написал почти пятьдесят «разделов», или «параграфов», причем всякий раз, начиная новый, я не мог предугадать, чем он завершится. Я никогда заранее не обдумывал содержания очередного раздела: оно открывалось мне лишь по мере того, как на бумаге возникали новые строчки. Я ничего не «изобретал»: я просто шел своей дорогой, и на каждом повороте меня ждали находки — факты, которых я раньше не замечал, или уже известные вещи, вдруг представавшие в новом, неожиданном свете.

Итак, мой труд — не что иное, как диалог с самим собой, то есть медитация. Однако тот факт, что он с самого начала предназначен к публикации, более того — задуман как вступление к моим «Размышлениям о математике», никак нельзя сбросить с весов. Расчет предать записки гласности — не пустая формальность, в ходе работы он явственно говорит о себе. Благодаря ему самый труд в моих глазах приобретает особый смысл. Еще вчера я заметил, что хозяин, без сомнения, находит в этом определенную выгоду (ведь он — известный мастер искать выгоды в чем бы то ни было!) — но смысл «медитации для печати» отнюдь не сводится к тому, чтобы потрафить хозяину. Да и много ли ему радости от «награды», с которой Бог весть когда еще приковыляет к нему пресловутая кобылка о трех ногах! Он, быть может, до этого еще и не доживет. Вообще, смысл действия далеко не всегда исчерпывается причинами (как скрытыми, так и явными), побудившими тебя решиться на этот шаг. Оторвавшись от крыльца, дорога иной раз уходит дальше и глубже, чем ты думал, глядя на карту. Я чувствую это снова и снова. И в моем «возвращении в математику» мне также видится некий особый смысл — не тот, что я вкладывал в него поначалу. В душе человека соперничают разные силы; все вместе, они как будто побуждают его совершать те или иные поступки. Но даже по всем правилам вычислив равнодействующую всех этих сил, невозможно полностью описать результат.

Итак, вступление к «Размышлениям…», с которыми я возвращаюсь в математику, понемногу перешло в медитацию, и в этом, в большой степени, отражен самый смысл моего возвращения. Эти страницы я хочу предложить тем, кого я знал и любил в математическом мире — но я не льщу себя надеждой на то, что этот дар не пропадет понапрасну. Будет ли он принят, зависит не от меня, а от того, кому он предложен. Разумеется, судьба моего дара мне далеко не безразлична. Но ответственность за нее лежит не на *мне*. Я отвечаю лишь за то, насколько я сам верен своему дару, а значит, от меня требуется лишь одно — быть самим собой.

В ходе этой медитации я узнал лишь простые и очевидные вещи, с виду — сущие пустяки. Их не сыщешь ни в одной, хоть бы и самой гениальной, ученой книге, ни в одном глубокомысленнейшем трактате. Только я сам, своими силами, мог их найти — я, и никто другой. Я бросал вопросы в «туман» своих воспоминаний и ловил ответы, стараясь ничего не упустить. Я понял, что такое «спортивный подход» в науке и как он отражался на моих отношениях с математикой и с людьми вокруг. Истина, как всегда, оказалась скромной и очевидной. Я мог бы прочесть «в подлиннике» Священное Писание, Коран, Упанишады; сверх того, Платона, Ницше, Фрейда и Юнга, я стал бы проявлять чудеса глубочайшей, всеохватывающей эрудиции — но все это лишь *отдаляло* бы меня от этой истины, незамысловатой и очевидной, как слова ребенка. И я мог бы сотню раз повторить слова Иисуса Христа: «Будьте, как дети, иначе не войти вам в Царство Небесное,» — истолковывая их с особым изяществом, но и это только отдалило бы меня от ребенка во мне самом, от тех скромных, тревожащих меня истин, которые видны лишь ему. *Они-то и есть* мой дар — лучшее из того, что я могу предложить.

И я знаю, что произнести эти слова, простые и ясные, недостаточно для того, чтобы мой дар был принят. Принять — не значит просто выслушать, смущенно или даже с интересом, дескать: «В самом деле? Кто бы мог подумать!..» — или: «Ну да… это, в конце концов, не так уж и удивительно…» Иногда принять дар — значит узнать себя в том, кто держит его на раскрытой ладони. Встретив в глазах другого свое отражение, всякий ли решится протянуть ему руку?

49. Это короткое размышление о смысле моей работы, о дарах и о том, как их принимают, увело меня в сторону от выбранной темы. А впрочем, оно здесь уместно как иллюстрация к моим рассуждениям о том, чем «медитация» отличается от всех остальных видов творчества, и в частности, от математического труда. Как я недавно понял, это отличие — палка о двух концах: оно вызывает в моей душе два *противоположных стремления*. «Мальчишку» медитация увлекает, как никакая другая игра, зато для «хозяина» она теряет какой бы то ни было интерес. И похоже, что на сей раз внутреннее противоречие заложено в природе вещей: ни договорами, ни уступками с обеих сторон нельзя устранить его совершенно. И впрямь, делать нечего: когда мальчишка, наконец, приступает к своей любимой игре, хозяин не получает от этого никакой выгоды, поверите ли, решительно никакой!

Этим-то, без сомнения, и объясняется столь резкий переход от медитации к математике в моей жизни. Вполне могло бы случиться так, что дорога к медитации для меня впредь была бы закрыта (разве что какой-нибудь конкретный вопрос потребовал бы срочного разрешения, как это было три месяца назад). Не думаю, что моя жизнь тогда потеряла бы смысл: ведь прошедший год, проведенный в математических занятиях, явно не был бесплодным. И все же, за этот год (вне области математики) я не узнал почти ничего: четыре года медитации перед тем дали мне несравненно больше. Вообще, каждый из долгих периодов медитации (их было четыре) неизменно приносил мне ощущение полноты жизни — как ни странно, я совершенно не чувствовал, что мне чего-либо не хватает, не замечал недовольства «хозяина» и нетерпения «безработной» математической страсти. Однако, раз уж котлы взорвались, значит, давление превысило меру, и излишек паров не один день томился внутри. Вероятно, он копился втайне, неделями и месяцами; я же был слишком погружен в медитацию и потому не успел почуять неладное.

Впрочем, здесь я, пожалуй, увлекся, не уследив за бегом пера (вернее, пишущей машинки). В действительности, напряженность медитации, едва достигнув некоторого пика, всегда начинала спадать (если не считать последнего периода, когда медитация оборвалась на полном ходу по вине стечения событий и обстоятельств) — как будто и впрямь волна, отлив, ждущий прилива... И ощущение полноты, о котором я говорил, также блекло и уходило вместе с волной, чтобы затем вновь охватить меня, поднявшись на гребне волны-медитации (и никогда — математики).

Что же до ситуации, в которой я пытаюсь здесь разобраться — мне кажется, настоящего конфликта в ней больше нет. Но есть, как выяснилось, некое неустранимое противоречие, из которого, вообще говоря, конфликт может развиться. И этот зародыш — на мой взгляд, наиболее явный (если судить по тому, как неизбежность его присутствия отражается на моей жизни) признак *раскола* в моей душе. Раскол же этот — не что иное, как вечная двойственность хозяин-ребенок.

Разрешить ее, положить ей конец — не в моих силах. Теперь, когда я угадал ее в одном из ее проявлений, мне остается лишь внимательно, осторожно следить за ее развитием, во всю оставшуюся жизнь не спуская с нее глаз. Быть может, моя любовь к математике (ей и так со мной не слишком повезло, надо признать) когда-нибудь исчезнет в своем собственном пламени: так, догорев, меня уже покинула одна страсть... И тогда страсть к открытию тайн моей души и моего предназначения в жизни, не встречая более помех на своем пути, охватит меня целиком.

Ведь, как я уже говорил однажды, ей одной ничего не стоит заполнить всю мою жизнь. Но целой жизни не хватит, чтобы исчерпать ее до конца!

50. Вот уже несколько дней, как я практически закончил работу над «РС», внимательно перечитал записки, нанес последние штрихи. Целый месяц я каждое утро просыпался с мыслью о том, что книга вот-вот завершится, что еще день-два, и можно будет вздохнуть с облегчением. Зато теперь, когда пора и в самом деле пришла, меня терзают сомнения — довел ли я свой труд до конца? Ведь, по правде говоря, на один вопрос я так и не нашел ответа. Я хотел понять, какие конкретно события или обстоятельства заставили хозяина так резко переменить ставки: предпочесть математику медитации, не побоявшись пойти наперекор довольно значительным силам внутренней инерции. В последнее время мои мысли сами собою настойчиво возвращаются к этому вопросу, несмотря на то, что в эти дни я уже как будто переключился на размышления иного порядка (например, о конформной геометрии). Пока волна медитации еще не унеслась от меня, подбросим ей последние обрывки сомнений, чтобы уж вычистить все до конца.

Когда я пытаюсь «наугад» представить себе, что за события могли натолкнуть меня на мысль о том, чтобы снова взяться за математику (всерьез, в расчете провести за работой по крайней мере несколько лет), мне приходят в голову несколько возможных ответов. Первый из них, и наиболее убедительный — хроническая неудовлетворенность, не оставляющая меня вот уже шесть или семь лет в моей работе с учениками. С этим же у меня связано ощущение *неполной занятости*, которое с годами становилось все острее. Иногда мне казалось, что я понапрасну стараюсь передать лучшее, что во мне есть, моим угрюмым ученикам: то, что им предложено, они берут безо всякого интереса (и никогда не просят добавки).

Повсюду, куда ни посмотри, я видел великолепные задачи, которые, кажется, сами просились в руки. Иногда для того, чтобы к ним подступиться, хватило бы смехотворно малого запаса знаний: они сами готовы были подсказать тебе и слова языка, на котором нужно о них говорить, и названия инструментов, чтобы их обрабатывать. Не видеть всего этого было бы невозможно просто потому, что, преподавая в университете, я сохранял какую-то связь с миром математики (пусть и на самом скромном уровне), даже в те времена, когда меня это менее всего занимало. Красивые вещи в математике всегда прячутся друг за другом: поднимешь с земли одну — откроется другая, а под ней, в глубине, целая россыпь сокровищ... Да и не в одной математике: куда бы ты ни взглянул с настоящим, живым любопытством, тебе откроются недра, полные тайн, и ты почувствуешь, что их богатства неисчерпаемы. Но мне не удавалось передать это чувство ученикам — потому-то я и оставался неудовлетворенным своей работой. Я не мог зажечь в них ни малейшей искры *желания* взять в руки хотя бы то, что лежало прямо перед глазами. А ведь они так или иначе решили провести месяцы, а то и годы (столько, сколько понадобится, чтобы подготовить необходимый диплом) в «научной работе» — так почему же не предаться ей от души, с увлечением? Между тем, если не считать двоих-троих, никому из моих учеников за последние десять лет это и в голову не приходило. Месяцами, даже годами, они топтались на месте, опустив руки, или мучительно пробивались вперед, как крот в твердой земле, прямой дорогой диплому, не понимая толком, что они видят перед собой и никогда не оглядываясь по сторонам. Все это симптомы творческого паралича, сказать о котором вообще можно немало. Эта болезнь не имеет ничего общего с «одаренностью», «способностями» или отсутствием таковых. Это — психологический барьер, и я уже однажды говорил о его причинах. Тогда, в начале вводной главы, я коснулся этой темы лишь мимоходом; здесь есть о чем подумать, но сейчас передо мной стоит иная задача. Итак, отвечая на свой вопрос, я должен констатировать у себя состояние хронической неудовлетворенности, вызванное тем, что за последние семь лет в моей работе с учениками одна и та же история повторялась снова и снова, и выхода из этой ситуации я не видел.

Выход, однако, был, и достаточно очевидный — если не для преподавателя, то по крайней мере для математика. Отчаявшись увлечь своих учеников математическими тайнами, я мог выполнить своими руками хотя бы часть той работы, которую они не желали довести до конца. Время от времени я так и делал: урывками, по несколько часов или даже дней, обдумывал разные вещи, пришедшие мне в голову в ходе работы с учениками. А порой у меня наступали периоды настоящего математического голода (приходившие внезапными, мощными волнами, как будто что-то и впрямь во мне взрывалось...): тогда я неделями, а бывало, и месяцами, размышлял только о математике. Но занимаясь математикой негулярно, от случая к случаю, я мог лишь в общих чертах описать ту или иную проблему, и мое представление о ней оставалось весьма неполным. Точнее, я ясно видел, что нужно сделать, но самый труд был еще впереди. Чтобы лучше разобраться в ситуации, необходимо было взяться за работу всерьез. Два месяца назад я написал краткий обзор основных тем, понемногу захватывавших мое воображение. Получился «Набросок Программы», о котором я уже как-то упоминал. Наряду с этими записками он составит первый том «Размышлений о математике».

Достаточно ясно, что эти короткие разведки математической местности (которые я проводил, что называется, «в частном порядке») сами по себе моей застарелой неудовлетворенности разрешить не могли. Ощущение «неполной занятости», несомненно, шло от *желания действовать* (вероятно, честолюбивого: чувствуется почерк «хозяина»). Во мне говорил уже не столько преподаватель (который стремился бы «расшевелить» учеников, что-то им передать или хотя бы помочь им заполучить те или иные дипломы, открывающие дорогу к разнообразным должностям в научном мире и проч.), сколько «математик», желающий сказать свое слово в науке, удивить мир неожиданными открытиями, дать развитие такой-то теории и прочее в том же духе. И здесь я снова возвращаюсь к выводу, не так давно мною сформулированному на этих самых страницах: математика, по природе своей — общая, совместная игра. Конечно, все последние десять лет мне и в голову не приходило, что я когда-либо снова соберусь публиковать свои математические находки. В то же время было более или менее ясно, что никто из моих учеников (и будущих, и настоящих) не доведет до конца того, что я наметил в своих «разведках». И все же я не могу сказать, что занимался математикой в те годы для собственного удовольствия, в силу каких-либо причин сугубо личного толка. Мне кажется, где-то в глубине души я всегда чувствовал, что математикой занимаются для того, чтобы передать знания другим: как будто некая башня на твоих глазах строится сообща, и ты приносишь свой камень. Эта «башня» и есть математика, а вернее — наше знание о математическом мироустройстве. Когда я говорю «наше», я думаю прежде всего о математиках, которых я знал и с которыми меня связывали общие интересы. И в то же время образ математической «башни» вбирает в себя нечто несравненно большее, чем все достижения математиков, которых я когда-либо видел и знал: так отдельные камни легко теряются в общей громаде, и часть сливается с целым. Итак, слово «наше» уже приобретает всеобщий, космический смысл: теперь оно относится ко всему *роду человеческому*, к моим собратьям из всех стран и эпох, которых мир математики однажды поманил своей красотой. Написав последние строки, я впервые подумал об этом. До сих пор я всегда смотрел на свою работу, как на часть некого «целого» — и, однако же, не отдавал себе в этом отчета. И уж во всяком случае я никогда не задумывался о том, как это предчувствие «целого» в том, что я делал, отразилось на моей жизни как математика и преподавателя.

Что же до желания действовать, о котором я говорил, то это для меня значило: извлечь из мрака нечто, *никому* (и не только мне) *не известное*, вывести на свет и показать миру — с тем, чтобы моя находка перешла *во всеобщее распоряжение*, обогатила сокровищницу. Это голос, зовущий меня приложить руку к строительству «башни», прибавить славы и блеска нашей сокровищнице; «целое» превосходит частности, в том числе и мое честолюбие.

Не то, чтобы в этом голосе совсем не звучали честолюбивые нотки. Напротив, здесь с новой силой вступает в игру моя страсть добиваться признания со стороны, всячески утверждая и превознося свою значимость, — словом, известные штуки «хозяина» во мне. Его тщеславие порой становится весьма утомительным, и даже разрушительным в определенных пределах ($^{44'}$). И все же у меня нет сомнений в том, что стремление накопить как можно больше вещей, которые (долго ли, коротко ли) носили бы мое имя, не способно заглушить или «перекрыть» собою куда более мощную силу, влекущую меня к строительству общей башни. А ведь сознание того, что его трудами растет высокое здание — лучшая награда иному работнику. Признание, поощрение других мастеров ему, быть может, не так уж нужно. В моей собственной «мастерской» хозяин, предпочитающий более солидные вознаграждения, пожалуй, слишком назойлив (уж он-то не забудет поставить подписи под работой!), но ведь это, в сущности, вопрос зрелости. А может быть, анонимный труд был бы для меня «высшей» формой самовозвеличения, которого я достиг бы, отождествив себя с тем, что неизмеримо превосходит мое «я» по своей космической значимости. Может быть — разве что природа этой силы на деле тоньше и глубже, разве только она выражает истинную потребность духа, не зависящую от внешних условий. Не это ли связывает каждого из нас со всем человеческим родом и придает смысл жизни каждого отдельного существа? Я не знаю ответа на этот вопрос; искать его сейчас — значит далеко отступать от темы.

Ведь моя цель — в том, чтобы исследовать ситуацию более скромного масштаба, касающуюся меня лично. Итак, преподавательская работа неизменно приносила мне чувство неудовлетворенности. Иногда мне удавалось ненадолго прогнать его (да и то, лишь отчасти), поразмыслив наедине с собою над тем или иным математическим вопросом, от которого отказались ученики. Логика событий рано или поздно должна была навести меня на мысль о том, чтобы *передать* кому-нибудь свои находки. Для того чтобы «разработать» обнаруженные мною рудники, необходимо было всерьез взяться за труд; я же все это время, вплоть до прошлого года, не допускал и мысли о том, чтобы снова на долгий срок предаться математической страсти. Оставался единственный выход: рассказать о тех находках, судьбу которых я принимал особенно близко к сердцу, друзьям-математикам, «понимающим толк» в соответствующей области.

Думаю, что если бы в последние десять лет мне удалось найти среди моих друзей-математиков человека, который, во-первых, стал бы моим постоянным *собеседником* и источником информации (каким, в значительной мере, был для меня Серр в 50-е и 60-е годы), и в то же время согласился бы *передавать дальше* ту «информацию», которую он мог бы получать от меня (этого делать Серру никогда не приходилось: в те годы я исправно писал и публиковал работы — то есть сам себе служил «передатчиком»), — что, случись все это так, неудачи в работе с учениками тревожили бы меня намного меньше. Моя неудовлетворенность исчезла бы в миг, и я спокойно предался бы своей новой страсти, по-прежнему возвращаясь к математике лишь изредка и ненадолго. Время от времени я и в самом деле предпринимал попытки отыскать себе такого друга и собеседника. В первый раз (быть может, еще не осознавая своей потребности) я обратился с этой целью к одному из прежних коллег в 1975г., и в последний — в 1982г., то есть полтора года назад. По забавному совпадению, в обоих случаях я пытался «пристроить» одну и ту же «программу» по гомологической и гомотопической алгебре (я хотел передать ее в «надежные руки», чтобы она не пропала в безвестности и, быть может, после — кто знает? — в один прекрасный день была доведена до конца). Эта программа зародилась в пятидесятые годы, и к концу шестидесятых у меня сложилось внутреннее убеждение в том, что она совершенно «созрела». В ней давалось предварительное, в общих чертах, развитие той самой темы, которой посвящена работа под названием «В погоне за стэками». Иными словами, это и есть тема настоящей книги, «Введение» к которой я пишу сейчас, вот на этих самых страницах! Как бы то ни было, мои попытки вновь обрести в математическом мире такого неоценимого собеседника (каким был для меня, до 1970г., Серр, и позднее — Делинь) по разным причинам провалились все до одной. У каждой из них была своя история, но по сути, я всякий раз хоть и искал общения с «действующими» математиками, но сам не желал уделять математике как таковой достаточно сил и времени. И уж по крайней мере, в 1975 и позднее, в 1982г., мой внутренний настрой, безусловно, не способствовал тому, чтобы беседа пошла на лад. В самом деле, я тогда стремился лишь «пристроить» некую вещь — и ничего сверх того. Стоя в стороне от событий математического мира, я многое упустил за все эти годы, но наверстать упущенное отнюдь не стремился. Для «действующего» математика, разбирающегося в современных методах гомотопической алгебры несравненно лучше меня, я был плохим собеседником.

«Письмо к...», ставшее первой главой книги «В погоне за стэками» (я написал его в феврале прошлого года, то есть немногим больше года назад), я мог бы счесть своей последней попыткой добиться от кого-нибудь из прежних друзей отклика на мои позднейшие идеи и мысли о математике. Так вышло, что письмо само собой перешло в записки — и возник мой первый за все это время (считая с 1970 года) математический текст, предназначенный к публикации. На «Письмо...», на мой взгляд, с математической точки зрения весьма содержательное, я получил что-то вроде ответа лишь год спустя (ср. примечание ([38])). И этот ответ оказался, в известном смысле, куда убедительнее, чем все прочие письма, какие я получал до тех пор от коллег-математиков. По нему одному я мог судить ясно и недвусмысленно о том, какие чувства по отношению к моей скромной персоне сделались нормой в кругу моих прежних друзей-математиков с тех пор, как я покинул математический мир. Я писал к этому человеку, обращаясь к нему, как к давнему другу, искренно, с сердечною теплотой. В ответном письме нарочито явственно прозвучала насмешка. Когда я прочел его, переживания недавних лет нахлынули на меня с новою силой. Тогда, раньше, я не раз замечал, что мои старые знакомые, и прежде всего друзья из «большого мира» математики, все чаще и чаще как бы отодвигались от меня, начинали относиться ко мне прохладнее. Но здесь речь идет уже не столько о личной дружбе, сколько об отношениях на «профессиональном» уровне, между коллегами. Среди более или менее «понимающих толк» математиков возникло и словно бы вошло в моду некое соглашение — и стало законом, как нечто само собой разумеющееся. Разумные люди сошлись на том, что математику в «блоках» по тысяче страниц каждый, да и все те понятия, которыми я забивал им голову в течение одного-двух десятилетий ([46,47]), в конце концов, не стоит принимать всерьез: эти, в сущности, пустяки и так в свое время наделали чересчур много шума.

Довольно одних нагромождений «абстрактной чепухи» вокруг понятий схемы и этальных когомологий (которые все же иногда оказываются как нельзя кстати — увы, приходится признать); обо всем остальном, по крайней мере, можно позабыть с легким сердцем. Те же, кто, вопреки здравому смыслу, не говоря уже о правилах хорошего тона, все еще трубят в гротендикие трубы, подбирая их где-то на свалке, заслуживают участи своего учителя (даже если они формально не числятся у него в учениках). И поделом…

Конечно, новые и новые свидетельства тому, что соглашение (которое я только что описал «открытым текстом», без обиняков) работает безотказно, отнюдь не оставляли меня равнодушным. Начиная с 1976 года ([50]), они все чаще и чаще долетали ко мне с разных сторон, и вот уже два-три года как идут ко мне отовсюду непрерывным потоком. В конце концов во мне проснулась бойцовская жилка, приутихшая и задремавшая было за последние десять лет. Мне захотелось броситься в рукопашную, приструнить этих молокососов, ни капли не смыслящих в чем бы то ни было, — словом, невеселые вести пробудили во мне самый что ни на есть дурацкий рефлекс быка, взбешенного видом красной тряпки. Казалось бы, иди спокойно своей дорогой — ан нет, он уж роет копытом землю, мотает головой и готов вот-вот броситься на «врага». Хотя мне все же думается, что этот «боевой инстинкт» — вещь неглубокая, и ради него одного я не сошел бы с дороги, не оставил бы медитации. К тому же (и к счастью), занятие математикой само по себе достаточно увлекательно, и оно явно не сводится к тому, чтобы с заостренной палкой в боку, позабыв обо всем, гоняться за красной тряпкой. Конечно, все зависит от подхода к работе: в том, как я занимаюсь математикой, пожалуй, есть что-то от борьбы с ветряными мельницами. Идти наперекор общему представлению о математике, отказавшись от формального стиля работы, увлекаться лишь «несерьезными» вещами (в глазах коллег) — в этом есть и вызов, и самоутверждение перед лицом насмешки. Безусловно, в известном смысле я сам виноват в том, как меня и мои идеи сегодня встречают в математическом мире. В свое время мои друзья, вероятно, чувствовали во мне некое пренебрежение, обращенное если не к ним самим, то по крайней мере к математической среде в целом — а ведь они по-прежнему считали ее своей и принимали ее устои без оговорок. И та насмешка, которую я сегодня читаю на лицах и в письмах, родилась в ответ на мои собственные слова, на мое поведение в тот год, когда я уходил из мира математиков. Итак, уголок красной тряпки все же маячит впереди, и приходится признать, что я сбился с дороги. На *моем* пути у самого горизонта меня ждут совсем иные проводники.

В последние недели я не раз задумывался о том, что же уводит меня с дороги (вероятно, эта же забота и сегодня задала ритм моему размышлению). Попутно я понял, что мною в этом руководит еще одно стремление, в котором нет ни капли пресловутого «боевого инстинкта», хотя амбиций иного толка, пожалуй, немало. Мне хотелось бы придать настоящий смысл своему труду последних десяти-двенадцати лет в математике: внутреннее убеждение говорит мне, что такая работа — нечто большее, чем простое развлечение на досуге. Природа этого желания пока что мне не ясна, я еще ни разу не задумывался над этим всерьез. Но одно несомненно: как показало это раздумье, сила, в свое время «качнувшая весы» в сторону математики, кроется именно здесь. Тореадоры с красными тряпками ей не указ: она действует сама по себе. Быть может, ее присутствие — признак того, что я не сумел вырваться из заколдованного круга, стать в стороне от своего прошлого? Но тогда речь идет о недавнем прошлом, а не о том далеком, «до 1970»: ведь эта сила пришла ко мне из десяти только что прожитых лет. Прошлое завершенных, написанных по всем правилам, напечатанных черным по белому работ меня не тревожит и не зовет.

По сути, мне безразлична судьба готовых вещей: что ждет их в будущем, сохранят ли их «потомки» (есть ли будущее у наших потомков — тоже вопрос...). Меня интересует не то, что я сделал, а то, чего я *не* сделал, не довел до конца. Тогда, в прошлом, перед моим мысленным взором развернулась огромная картина будущего труда. Из той обширной программы мне удалось выполнить, как своими усилиями, так и с помощью друзей и учеников, лишь ничтожно малую часть. Позднее, неожиданно для меня самого, эта программа пережила обновление, и вместе с ней изменилось мое собственное представление о математике, мой подход к математическому труду. Прежде я, как правило, брался за серьезные *задачи* по заложению основ в той или иной области математики — труд кропотливый и тщательный. Нынче же темы, о которых я говорил, выходят на первый план. Пришла пора исследовать *тайны*, влекущие меня за собой с особенной силой: например, загадки «мотивов» или проблемы «геометрического» описания группы Галуа $\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}$. Само собою, попутно мне так или иначе предстоит заложить кое-где основы будущих зданий — по крайней мере, набросать план в общих чертах. «Долгий поход сквозь теорию Галуа», как и книга, которую я пишу сейчас, «В погоне за стэками», уже содержит такие наброски. И все же, это работа совсем иного толка: цель не та, и самый стиль изложения изменился.

Иначе говоря, в эти последние годы, лишь изредка оборачиваясь в сторону математических ручьев и долин, я видел сквозь туман тайные, призрачные очертания неведомых зданий и предчувствовал их несказанную красоту. Я знал, что эта красота — не для меня одного, что я должен о ней рассказать. Самый смысл ее — в том, чтобы ее увидели люди, чтобы знание о ней усваивалось, передавалось из уст в уста… Но рассказать о ней словами, хотя бы себе самому — значит развить сюжет, придать картине глубину перспективы; это *труд*. Конечно же, я знаю, что мне одному и за сотню лет не завершить этой работы. Но подобает ли нам беречь и высчитывать годы — те, что нам осталось прожить, открывая мир? Месяцы ли, годы ли заберет у меня математика — моя ли это забота? *Другая* работа тем временем будет ждать моих рук — труд, на сей раз предназначенный лишь мне одному. Жизнь моя сама выберет себе русло, и я не волен, да и не в силах, стать на пути у текущих лет.

Примечания

([1]). (Добавлено в марте 1984.) Кажется, здесь я немного перегнул палку. Утверждать, будто «стиль» и «метод» моей работы остались прежними, в то время как мой стиль изложения в математике преобразился до неузнаваемости, — это уже чересчур. Возьмем пример: вот уже год, как я размышляю над книгой «В погоне за стэками». За работой я почти не отрываюсь от пишущей машинки и все, что »выходит из-под пера» (по всем признакам, «черновой» вариант!), собираюсь публиковать как есть, безо всякой отделки. (Разумеется, чтобы облегчить труд читателя, в текст будут включены сравнительно короткие примечания, содержащие необходимые ссылки, поправки и проч.) Ни ножниц, ни клея для тщательной подготовки «окончательного» варианта рукописи (совершенного по форме: такого, чтобы в нем нельзя было уловить и следов кропотливого труда исследователя-чернорабочего) — это ли не перемена «стиля» и «метода»! Изложение мыслей на бумаге — та же математика; эти два вида работы («придумывать» и «записывать») так тесно связаны между собой, что разделить их во времени невозможно.

([2]). (Добавлено в марте 1984.) Перечитывая два последних абзаца, я ощутил некоторую неловкость. В тот момент, когда я их писал, мне, очевидно, и в голову не приходило, что все сказанное может относиться и ко мне, а не только к другим. Я замечал те или иные вещи в других людях — и позднее, с течением лет, не раз убеждался в справедливости своих догадок. Но вот, даже изложив (и не без злорадства, как водится) свои открытия на бумаге, применять их к себе я так и не научился. Теперь, разбираясь в своих воспоминаниях, я увидел, что в прошлом я и сам не раз испытывал презрение к своему ближнему: это чувство не обошло меня стороной. Глядя на других, я отмечал, что в людях оно идет от скрытого презрения к себе самому. Было бы странно, если бы я оказался единственным исключением из этого правила. Это противоречило бы как здравому смыслу, так и моему личному опыту: я слишком хорошо знаю за собой обыкновение, глядя «вдаль», закрывать глаза на то, что творится у меня под носом — в первую очередь, в моей собственной душе. Однако, пока это лишь умозаключения — то есть не более, чем повод еще раз оглянуться на себя и на свое прошлое. Если и есть во мне это презрение к себе самому, то оно, должно быть, нарочно скрывается от меня: во всяком случае, до сих пор мне не удалось его обнаружить. Воистину, нет конца загадкам души человеческой! Но разрешить ту, с которой я только что столкнулся, мне сейчас представляется особенно важным: именно потому, что она все это время ускользала от моего взгляда[11].

[11](Август 1984.) См. на эту тему примечание «Побоище», n° 87 (два последних

([3]). Здесь уместно поговорить, в частности, о покойных гипотезах Морделла, Тэйта и Шафаревича. Все три были доказаны в прошлом году в работе Фалтингса длиной в сорок страниц. Это случилось в тот самый момент, когда все, кто «разбирается» в данной области, дружно сошлись на том, что эти гипотезы находятся «вне пределов досягаемости» научной мысли. Вышло так, что «главная» гипотеза, на которой основана моя программа по «анабелевой алгебраической геометрии», по смыслу близка как раз к гипотезе Морделла. (Более того, похоже на то, что последняя вытекает из первой. Однако, никто не обратил на это внимания — верно, солидные люди не приняли всерьез этой программы, которая вообще немало для меня значит...)

([4]). Впрочем, и в наши дни встречаются сомнительные доказательства. Например, доказательство Грауэрта теоремы конечности, получившей его имя. Несколько лет кряду его никто не мог прочесть, при том, что добровольцев хватало. Путаница разрешилась благодаря другим, более прозрачным доказательствам, которые появились позднее; некоторые из них в определенном смысле пошли дальше исходного. Похожая, но уже совсем из ряда вон выходящая история произошла с «решением» так называемой проблемы четырех красок. Его «вычислили» при помощи компьютера (и нескольких миллионов долларов). В то время как настоящее доказательство в математике всегда идет от внутреннего убеждения человека, от ясного понимания той или иной ситуации, здесь речь идет о расчете, основанном на доверии к машине, лишенной способности мыслить и понимать. Математик, взявшийся за эту работу, не понимает ее устройства; может ли он поручиться за результат? Даже если расчет будет подтвержден при проверке на других компьютерах, другими программами, я все равно не соглашусь признать проблему четырех красок закрытой. Это означало бы только, что можно оставить поиски контрпримера. Вопрос о настоящем доказательстве (разумеется, о таком, чтобы его можно было прочесть!) даже при этих условиях остается открытым.

([5]). Это тем более примечательно, что вплоть до 1957-го года некоторые из членов группы Бурбаки относились ко мне не без некоторой настороженности. В конце концов они со мной смирились, хотя, думается мне, не без колебаний. Надо мной добродушно подшучивали, называя «опасным специалистом» (по функциональному анализу). Картан, должно быть, относился ко мне сдержаннее: иногда я чувствовал это. Кажется, в первые годы нашего знакомства он находил, что я склонен к поверхностным и безосновательным обобщениям. Помню, как он удивился, обнаружив в первой (и последней), чуть длинноватой, редакции главы, которую я написал для Бурбаки (речь шла о дифференциаль-

---

абзаца).

ном исчислении на многообразиях) какие-то содержательные мысли: в свое время, когда я предложил взять этот раздел на себя, он явно не был особенно рад. (Потом я еще раз вернулся к этим мыслям — намного позднее, когда развивал формализм вычетов с точки зрения когерентной двойственности.) Впрочем, на сборах Бурбаки я и сам нередко чувствовал себя потерянно, особенно во время совместных чтений по главам. Следить за ходом лекций и дискуссий в том ритме, в котором они обыкновенно проистекали, определенно было мне не по силам. Возможно, я и в самом деле не гожусь для совместной работы. То, что я с таким трудом вписывался в общий ритм, могло вызывать у Картана и прочих некоторую настороженность, но насмешки или снисходительное пренебрежение — никогда (разве что Вейль пару раз прошелся на мой счет, но это уж решительно особый случай!). Все эти годы Картан был со мною неизменно приветлив. Таков он был со всеми: сердечность, мягкость в отношениях с людьми, тонкий юмор для меня неотделимы от его образа.

([6]). Среди друзей, которые помогли мне избавиться от этой иллюзии, я, конечно же, должен упомянуть и Пьера Самюэля. Как и Клода Шевалле, я раньше знал его в основном по Бурбаки; как и Шевалле, в группе «Survivre et Vivre» он играл важную роль. Мне кажется, что Самюэля мысль о превосходстве ученых над простыми смертными не особенно занимала, и не то, чтобы он был склонен к этому заблуждению. В «Survivre et Vivre» он многое сделал в основном, думается мне, благодаря своему здравому смыслу и неизменно веселому настроению. Это чувствовалось всегда — во время совместной работы, в ходе разнообразных дискуссий, просто в дружеской беседе. И, конечно, ему с особенным изяществом удавалась роль «несносного реформиста» в группе весьма критической, радикальной направленности. Он оставался в «Survivre et Vivre» еще какое-то время после моего ухода и редактировал там одноименный бюллетень. Позднее, почувствовав, что его присутствие стало излишним, он также вышел из группы (чтобы присоединиться к «Les Amis de la Terre»). Он расстался с товарищами по группе мирно и дружелюбно, никого не задев.

У нас с Самюэлем было много общего: мы оба принадлежали к одному и тому же тесному кругу, давно знали друг друга, говорили на одном языке. И все же, в те бурные годы мне было чему у него поучиться (это при том, что ученик из меня решительно никудышный). В этом смысле с ним все было, как с Шевалле, хотя они ничуть не похожи. Он отнюдь не пытался нарочно излечить меня от моих «меритократических» слабостей, не критиковал их и не рассуждал о морали. Просто то, как он жил, как он держал себя, действовало на меня лучше всяких лекарств.

Вообще, мне кажется, что только таким способом я и учился у людей в тот период. Личный пример спасал положение там, где ни разъяснения, ни дискуссии не помогли бы. То, как мои друзья поступали в тех или иных ситуациях, самый их образ жизни, какая-то особая чувствительность, которой мне недоставало, — что-то из этого мне все-таки «передалось». В связи с этим, кроме Шевалле и Самюэля, я мог бы назвать еще несколько имен. Это прежде всего Дени Гедж (в группе «Survivre et Vivre» пользовавшийся большим авторитетом), Даниэль Сибони (напротив, державшийся в стороне от группы, и лишь искоса, пренебрежительно-насмешливо, следивший за ее развитием), Гордон Эдвардс (при его участии это «движение» зародилось в июне 1970 года в Монреале, а позже он творил чудеса усердия, добиваясь выхода американского издания бюллетеня «Survivre et Vivre» на английском языке), Жан Делор (врач, фактически мой ровесник, человек тонкий и душевный, который тепло относился ко мне, как и все наши друзья по «Survivre et Vivre»), Фред Снелл (тоже врач, из Буффало; он обосновался в Соединенных Штатах, и я в свое время гостил у него в загородном домике, когда приезжал туда по делам).

Из тех, кого я только что перечислил, пятеро были математиками, двое — врачами, и все — учеными. Итак, ближайший круг моего общения в те годы составляли по-прежнему ученые, и прежде всего математики.

([7]). Предыдущий абзац, первый во всем введении, я сначала было вычеркнул целиком, а потом много раз пытался переправить. Выбор слов мне никак не удавался, и дело продвигалось как-то против шерсти. Явно прослеживалось влияние какой-то силы, которая побуждала меня поторопиться, поскорее закончить разговор об этой истории. Дескать, отчитайся об этом пустяковом случае для очистки совести, а там уже пора перейти к вещам серьезным. Что это, как не знакомые признаки внутреннего *сопротивления?* На этот раз оно пытается удержать меня от того, чтобы я внимательно рассмотрел этот эпизод и раскрыл для себя его значение, недвусмысленно говорящее о моей собственной внутренней позиции. Совершенно аналогичная ситуация уже была описана в начале введения (§2). Там речь шла об одном из определяющих моментов в математической работе, о минуте, когда противоречие, и весь его смысл, вдруг открывается твоим глазам. В этом случае роль внутреннего сопротивления играет *инерция* ума, который всегда неохотно расстается с ошибочным или недостаточно широким видением (самолюбия нашего это, однако же, не затрагивает). Но в жизни сопротивление более активно, а то и изобретательно, в то время как эта инерция в математике — просто пассивная сила. И вот когда я, ломая голову в поисках слов, преодолел внутреннее сопротивление, открытие явилось мне во всей своей ясности и простоте. И тогда — как будто тяжелый камень упал с души: наступила минута *освобождения*. И оно ощущалось острее, чем в математике. Но это было не просто преходящее чувство. Скорее, это пронзительное, благодарное восприятие того, что ты видишь в себе и перед собой. А видишь ты не что иное, как *свободу*: открытую дверь и сбитый замок.

([8]). Как станет ясно в дальнейшем, эта двусмысленность отнюдь не «исчезла вскоре после моего пробуждения в 1970 году». Тут прием отступления, типичный для моей тактики в этом вопросе. Пускай все приобретения с потерями остаются за демаркационной линией 70-го года; зато там уже, впереди, мое поведение будет безупречным!

([9]). Это не совсем точно. Как выяснится дальше, среди моих ближайших коллег по крайней мере одно исключение да найдется. Здесь видна характерная «леность» памяти, зачастую предпочитающей как-то «замять» факты, если они не укладываются в привычные рамки.

([10]). Например, я уже потерял счет случаям, когда, отправляя письмо коллеге или бывшему ученику (которого считал своим другом), я так и не получал ответа. Письмо могло быть каким угодно — математическим, деловым, просто личным. Похоже, что дело не в том, как эти люди относились ко мне лично. Скорее, это признак перемены нравов, ведь о том же мне говорили многие. Правда, им-то не отвечали незнакомые люди, да и речь шла в основном о письмах чисто математического содержания…

([11]). Конечно, тут я мог и позабыть — не говоря уже о том, что моя тогдашняя «зацикленность» отнюдь не располагала ни к попыткам заговорить со мной о чем-нибудь в этом роде, ни к тому, чтобы подобный разговор мне запомнился. Одно несомненно: затронуть в беседе этот вопрос (даже не называя страха страхом…) само по себе было бы крайне необычно. Вероятно, в этом смысле ничего не изменилось и по сей день, в особенности в «высших кругах».

Значит ли это, что страх в свое время прокрался в нашу среду незамеченным? Если не считать Шевалле, который, по-видимому, обратил внимание на эту перемену в нашей обстановке еще в шестидесятые годы, среди моих многочисленных друзей-математиков «высшего ранга», по моим представлениям, только один человек понимал, что происходит вокруг. Это был Альдо Адреотти. С ним, с его женой Барбарой и с их детьми-близнецами я познакомился в 1955 году (кажется, на вечере у Вейля в Чикаго). С тех пор мы с ним близко общались вплоть до «резкого поворота» в моей жизни в 1970 году, когда я ушел из мира математики. После этого я в какой-то мере потерял его из виду. Альдо был очень проницателен; свойственное ему исключительно живое, острое восприятие действительности ничуть не притупилось от общения с математикой и с «зацикленными» чудаками вроде меня. Природа наградила его редкой доброжелательностью: всякого, кто к нему обращался, он принимал тепло, с искренним участием. Этим он заметно выделялся среди моих друзей в математическом мире (да и не только в нем). Дружба у него неизменно шла впереди математики (впрочем, и в математике общих интересов у нас хватало). Он был в числе тех немногих коллег, с которыми я иногда говорил о себе; в ответ и он рассказывал мне кое-что из своего прошлого. Его отец, как и мой, был евреем: за это его преследовали в Италии при Муссолини, как меня — в гитлеровской Германии. Он всегда был готов ободрить и поддержать молодого ученого, при том, что начинающим математикам в ту пору становилось все труднее добиться «официального» признания. Наш мир неумолимо раскалывался на две части: на одном краю пропасти — знаменитости, известные математики, молодые ученые, подающие надежды, на другом — обделенные судьбою простые смертные. Но Альдо, прожив в нем годы, все же не разучился уважать в человеке человека, а не почетную должность или мундир с отличиями. Сам Альдо был необыкновенно милым, душевным человеком, он неизменно располагал к себе с первой же встречи.

Думая об Альдо, я вспомнил еще об одном друге — Ионеле Букуре, который исчез из моей жизни столь же внезапно и преждевременно. Здесь, как и с Альдо, меня гораздо больше огорчает потеря друга, чем собеседника на математические темы. Доброта уживалась в нем бок-о-бок с необычайной застенчивостью; он, казалось, при любых обстоятельствах спешил стушеваться, отступить в сторону. Для меня загадка, как человек, настолько далекий от каких бы то ни было честолюбивых мыслей и побуждений (принимать важный вид, пуская окружающим пыль в глаза, было отнюдь не в его привычках!), оказался в конце концов деканом Факультета Наук в Бухаресте. Вероятнее всего, он просто не допускал и мысли о том, что может позволить себе отказаться от ответственности. К солидной должности он отнюдь не стремился: этот груз был взвалили ему на плечи (довольно крепкие, нельзя не признать) местные власти. Он был сыном крестьянина (это обстоятельство, несомненно, сыграло свою роль в стране, где так много значило «классовое происхождение»), человеком простым и здравомыслящим. Конечно, страх, окружавший в те дни фигуру знаменитого ученого, не мог ускользнуть от его наблюдательности. Но в его глазах это, безусловно, было всего лишь неотъемлемым атрибутом положения у власти. Не думаю, однако, чтобы он сам мог вызывать страх у кого бы то ни было: уж во всяком случае, не у своей жены Флорики и не у сына Александра. Коллеги и студенты, по слухам, тоже никогда его не боялись.

([12]). «На другое же утро» здесь следует понимать буквально — это не метафора.

([13]). Само собой, весь этот разговор — не более чем попытка как-нибудь восстановить ощущение от обстановки тех лет, насколько позволяет «туман» расплывчатых воспоминаний. Но картина никак не «вырисовывается», в ней нет четких линий, и я не могу в ней уловить сколько-нибудь ясных, конкретных образов. Конечно, хорошо было бы вспомнить в подробностях какую-нибудь историю и потом тщательно ее проанализировать. Но тогда мой рассказ мог бы создать у читателя впечатление, будто всякий, кто не любил садиться в первых рядах на математических семинарах и не считался знаменитостью в нашем кругу, непременно робел в присутствии «старших по рангу». А это заведомо было *не так*: большинство моих друзей из этой среды, в том числе те, кто часто посещал коллоквиумы и семинары, в разговоре с авторитетными математиками чувствовали себя вполне свободно. Как бы то ни было, статус «знаменитости» сам по себе стал создавать преграду, пропасть между «выдающимся математиком» и простым ученым без титулов. Этот барьер было непросто преодолеть — разве что на время математической дискуссии (потом он появлялся снова). Добавлю, что субъективно ощущаемое различие (которое все же представляется мне весьма реальным) между «первыми рядами» и «болотом» отнюдь не сводится к шкале общественного положения, званиям, постам и проч. — ни даже к авторитету в научном мире. Оно, скорее, отражает определенные особенности человеческого характера, строя души, разобраться в которых — нелегкая задача. Двадцати лет от роду, оказавшись в незнакомом Париже, я уже знал, что я — математик, что я *творю* математику. Несмотря на ошеломляющее впечатление, которое произвел на меня с первых же шагов огромный математический мир, по сути я чувствовал себя полноправным его обитателем. Правда, никто, кроме меня, об этом не подозревал; да я и сам не был уверен поначалу, что собираюсь продолжать свои математические занятия. Сегодня я, наверное, сел бы в последнем ряду (а скорее всего у меня просто не было бы выбора).

([14]). Если так, отчего же я сам несколькими строками раньше писал, что в группе не было руководителя? В действительности никакого противоречия здесь нет. Для старых Бурбаков Вейль был как бы душою группы — отнюдь не «начальником». Когда он появлялся на наших сборищах, то иногда — по настроению — брал на себя роль «ведущего» (как я уже писал). Но правила игры выбирал не он, они были одни для всех. Когда он приходил в дурном расположении духа, он мог остановить дискуссию, если его не устраивала тема. Тогда обсуждение спокойно возобновлялось на другой же день, в отсутствие Вейля или даже с его участием (если он больше не протестовал). То или иное решение в группе принималось лишь в том случае, если все были «за». Иногда (и даже нередко) «против» оказывался только один человек, и этого хватало. Я знаю, это звучит нелепо: кажется, по такому принципу группа работать не может. Хотите — верьте, хотите — нет, но Бурбаки работали превосходно!

([15]). Эта «аллергия» на стиль Бурбаки, мне кажется, не препятствовала личному общению. Члены группы, а также «сочувствующие», легко находили общий язык с представителями «противоположного лагеря». Это было бы не так, если бы Бурбаки держались особняком, как закрытая секта, элита в элите. Независимо от своего подхода к математической работе, каждый из членов группы живо ощущал математические реалии и знал об их природе не понаслышке. Так было вначале; но помнится, уже в шестидесятые годы один из моих друзей завел привычку называть «занудами» коллег, которые, по его мнению, занимались неинтересной работой. Речь шла о вещах, в которых я тогда почти совсем не разбирался, свои нелестные оценки мой друг раздавал направо и налево с завидной самоуверенностью, — словом, я попался на удочку и долгое время принимал его суждения за чистую монету. Так было, пока один такой «зануда» — уж не знаю, чем он не угодил моему блистательному приятелю — не поразил меня оригинальностью и глубиной мысли. Кажется, чего проще: если ты не знаком с работой или не слишком хорошо разбираешься в теме, будь скромнее, воздержись от поспешных суждений. У меня есть чувство, что перемены в нашей среде начались с того, что некоторые члены группы Бурбаки стали слишком охотно пренебрегать этим правилом. При этом у них еще сохранялся «математический инстинкт»: умение распознать серьезный, содержательный, богатый находками труд без ссылки на научную репутацию или известность автора. Но похоже, что с потерей профессиональной скромности такой инстинкт изнашивается намного быстрее: в наши дни он уже сделался редкостью в математических кругах. Я сужу об этом по многочисленным откликам, доносящимся ко мне с разных сторон.

([16]). Правда, несколько таких отдельных «маленьких микрокосмов» все же существовало (и некоторые из них, пожалуй, нельзя было назвать «маленькими»). Иногда они жили своей жизнью, в стороне от мира Бурбаки. Однако, скажем, вокруг меня нечто подобное возникло лишь после того, как я вышел из состава группы и смог, наконец, заняться тем, что меня особенно увлекало.

([17]). Теплые отклики, как и действенная помощь, приходили ко мне в основном от людей, не имевших отношения к научной среде. Наряду с Алэном Ласку и Роже Годеманом, меня в то время очень поддержал Жан Дьедонне. Жан приехал на заседание суда в Монпелье, где горячо свидетельствовал в мою защиту. Впрочем, как я уже говорил, мое дело было заранее обречено на провал.

([18]). Думаю, что я ошибся тогда вовсе не по небрежности. Просто я еще многого не знал: мне не хватало зрелости. Только десятью годами позже я начал задумываться о природе психологического барьера, о том, какие внутренние механизмы его вызывают. Тогда же я стал обращать внимание на действие этих механизмов: в себе самом, в своих близких и учениках. Я понял, что они играют важную роль во всей нашей жизни, не только в учебе или работе. Конечно, мне жаль, что в случае с теми двумя молодыми людьми мне не хватило прозорливости. Все же я не раскаиваюсь в том, что ясно высказал им свое, пусть не слишком обоснованное, впечатление от нашей совместной работы. Если ты думаешь, что человек несерьезно относится к своей работе, ты должен прямо сказать ему об этом — мне кажется, это правильно и даже необходимо. Конечно, я мог поспешить с выводами, и все же за последствия отвечаю не я один. После такого нагоняя у ученика остается выбор: извлечь из этого урок (первый из них, по-видимому, так и поступил) или сдаться, опустить руки. Даже если он решит оставить математику, он всегда может попробовать свои силы в другом ремесле — а ведь это вовсе не так уж плохо!

([19]). После 1970 еще один молодой человек, Ив Ладегейри, подготовил и защитил диссертацию под моим руководством. Мои ученики первого периода — это П.Бертло, М.Демазюр, Ж.Жиро, госпожа Хаким, госпожа Хоань Суан Син, Л.Иллюзи, П.Жуанолу, М.Рэйно, госпожа Рэйно, Н.Сааведра, Ж.Л.Вердье. (Шестеро из них, впрочем, закончили работу над диссертацией после 1970 года — то есть в ту пору, когда я уже не так много времени уделял математике.) Мишелю Рэйно принадлежит здесь особое место. Он сам наметил основные вопросы и существенные понятия для своей диссертации, над которой и в дальнейшем работал совершенно самостоятельно. Моя роль как «научного руководителя», таким образом, сводилась к тому, чтобы прочесть готовую диссертацию, созвать ученый совет и ввести в курс дела его участников.

Если же я сам предлагал человеку тему для диссертации, я всегда старался продумать ее заранее — с тем, чтобы, если понадобится, помочь ученику в его работе. Примечательным исключением из этого правила была работа мадам Мишель Рэйно о локальных и глобальных теоремах Лефшеца для фундаментальной группы, сформулированных в терминах 1-стэков над соответствующими этальными ситусами. Этот вопрос я считал сложным (и не ошибся). У меня к тому моменту не было идей доказательства (хотя в самих утверждениях я нисколько не сомневался). Эта работа продолжалась до начала 70-х годов, и мадам Рэйно (как и ее муж несколькими годами раньше) без какой-либо помощи придумала тонкий и оригинальный метод доказательства. Эта превосходная работа открывает, между прочим, вопрос о возможном расширении результатов мадам Рэйно на случай n-стэков. На мой взгляд, это было бы естественным завершением (в контексте схем) теорем типа «слабой теоремы Лефшеца». Формулировка соответствующей гипотезы (справедливость которой также не вызывает сомнений), однако, существенным образом использует понятие n-стэка. Изучению этого понятия и будет, в основном, посвящена эта книга[12], о чем ясно свидетельствует ее название — «В погоне за стэками». В свое время мы, без сомнения, к этому вернемся.

Другой случай, также довольно необычный, касается госпожи Син. Я познакомился с ней в Ханое в декабре 1967 года, куда я приехал на месяц, чтобы прочесть курс лекций в эвакуированном Ханойском университете. На следующий год я предложил ей тему для диссертации. Она работала в чрезвычайно трудных условиях, во время войны, и наше с ней общение ограничивалось эпизодической перепиской. Она смогла приехать во Францию в 1974/75гг. (по случаю международного математического конгресса в Ванкувере). Она защитила свою диссертацию в Париже (в ученый совет, под председательством Картана, входили Шварц, Дени, Цисман и я).

Наконец, я должен упомянуть здесь имена Пьера Делиня и Карлоса Конто-Каррера. Оба они в какой-то мере были моими учениками: первый в 1965-68 годы, второй в 1974-76гг. Оба обладали весьма незаурядными способностями, но применяли их очень по-разному — и уж совсем несхоже сложились их судьбы. Перед тем, как перебраться в Бюр-сюр-Иветт, Делинь работал под руководством Титса (в Бельгии). Вообще, я сомневаюсь, чтобы кто-либо из математиков мог назвать его своим учеником, в общепринятом смысле этого слова. Конто-Каррер был учеником Сантало (в Аргентине), и после еще какое-то время работал под руководством Тома. Как Делинь, так и Конто-Каррер к моменту встречи со мной уже были законченными математиками; Карлосу, впрочем, немного недоставало техники.

В математике моя роль в отношении Делиня сводилась к тому, что я урывками, от случая к случаю, рассказывал ему то, что сам знал из алгебраической геометрии. А он все схватывал на лету, как если бы всегда знал — и слушал, как сказку. По дороге я поднимал кое-какие математические вопросы и, как правило, получал на них ответы — тут же на месте или немного времени спустя. Так возникли первые известные мне работы Делиня. Те, что он написал после 1970 года, как и позднейшие работы моих «официальных» учеников, я знаю лишь понаслышке[13].

[12]Речь идет о третьем томе «Размышлений о математике», а не о настоящем, первом томе «РС» — см. Введение, §5.

[13]В частности, я имел случай просмотреть кое-какие публикации Бертло и Делиня, которые они любезно мне переслали.

Моя роль как научного руководителя Конто-Каррера, как он указал в своей диссертации, ограничивалась тем, что я ознакомил его с языком схем. Во всяком случае, я лишь издали следил за его работой в эти последние годы. Тема его диссертации, современная и актуальная, выходила за рамки моей компетенции. У Конто-Каррера были какие-то неприятности в широких математических кругах, в связи с чем он попросил меня (не так давно) стать его научным руководителем и созвать ученый совет. Он обратился ко мне в последний момент, и, как мне сейчас кажется, с большой неохотой. (Ведь он рисковал стать в глазах математической общественности учеником Гротендика «после 70-го»; обстоятельства сложились так, что это могло повредить его репутации...) Я постарался выполнить эту задачу как можно лучше. Не исключено, что я тогда в последний раз в жизни оказался научным руководителем будущего кандидата наук. Ситуация была несколько необычная, и я особенно благодарен Жану Жиро за его дружескую поддержку. За месяц или два он тщательно изучил объемную рукопись и прислал мне подробный обзор в теплом и любезном письме.

([20]). Это заставило меня задуматься о теме, выбранной Моникой Хаким. Тема эта, по правде говоря, была ничуть не более заманчивой, и я спросил себя, как Моника с нею справлялась. Если она и скучала иногда, то во всяком случае не выглядела совсем уж мрачной или печальной. Между нами не было и тени напряжения, и мы прекрасно работали вместе.

([21]). Быть может, вернее было бы сказать, что для того, чтобы стать по-настоящему хорошим преподавателем, мне недоставало *зрелости*. Моя жизнь складывалась так, что я привык ценить и развивать в себе прежде всего «мужественные» черты (или «ян»). А ведь одна из сторон зрелости — как раз равновесие «инь-ян» в душе человека.

(Добавлено позднее.) Впрочем, еще больше, чем зрелости, мне тогда не хватало душевной *щедрости*. Я говорю здесь не о готовности уделить свое время и силы, чтобы помочь человеку в работе — нет, эта щедрость важней и тоньше по своей природе. До 1970 года я совсем не замечал в себе этого недостатка: внешне он почти никак не проявлялся. Но ведь тогда ко мне приходили учиться люди, страстно увлеченные математикой, готовые к серьезной работе — огня в душе им было не занимать! Этим-то, без сомнения, и восполнялась нехватка. Напротив, после 70-го этот недостаток успел немало мне навредить. С ним непосредственно связано то обстоятельство, что свою преподавательскую деятельность этого периода (на уровне научной работы, то есть, начиная с курсовых работ студентов) я оцениваю, как полный провал. (См. об этом «Набросок программы», §8 и §9 под заголовком «Итоги преподавания». В этих отрывках многое говорится о чувстве неудовлетворенности, накопившемся у меня за восемь лет преподавания[14]).

(^{22}). И это еще надолго, по-видимому, раз уж я решился ходатайствовать о том, чтобы меня приняли в CNRS: это дало бы мне возможность уйти из университета. С годами мне становится все труднее преподавать студентам.

($^{22'}$). Даже после 1970 года, когда математика отошла для меня на второй план, я, кажется, ни разу не отказал человеку, который выразил бы желание со мной работать. Более того: если не считать двух-трех исключений, темы, которые я давал своим ученикам после 70-го, увлекали меня значительно сильнее, чем их самих. Так было даже в те времена, когда я совсем не занимался математикой вне положенных по графику университетских часов. Работать с новыми учениками так же напряженно, как с прежними, и требовать от них той же самоотдачи было бы просто немыслимо. Они занимались математикой без какого-либо воодушевления, словно постоянно совершали насилие над собой...

(^{23}). Слово «передать» здесь не на месте: истинное положение дел, как всегда, намного скромнее. Эта строгость так просто не передается. Ее можно лишь пробудить, или поддержать, как раздувают и поддерживают огонь. На эту строгость в человеке, как правило, не обращают внимания или загоняют ее в угол с самого раннего возраста: сперва в семейном кругу, затем в школе и в университете. С тех пор как я себя помню, эта строгость всегда сопровождала меня в моих исканиях. Не думаю, чтобы она досталась мне «в наследство» от родителей, и уж во всяком случае не от учителей — даже не от старших математиков. Мне кажется, скорее, что эта строгость — неотъемлемое свойство *невинности.* То есть ее нельзя передать: она заложена в каждом из нас от рождения. Эта невинность слишком явно ассоциируется с младенческим лепетом, то есть с поведением «не мужа, но мальчика» — таких вещей мы, взрослые, стесняемся. Зачастую мы так стараемся поглубже ее запрятать, что она просто теряется, исчезает навсегда. Каким-то образом (я еще не задумывался над причиной) у меня такая невинность все же сохранилась — правда, лишь как пытливость ума, что сравнительно безобидно. В остальном ее не видать и не слыхать; что же, почти все люди так и живут без нее. Может быть, секрет или, скорее, великая тайна преподавания, «обучения» в полном смысле этого слова, и состоит в умении разбудить в человеке невинность, дремлющую где-то в глубине. Но нечего и толковать о возможности восстановить забытую связь в душе ученика, если ее недостает самому преподавателю. А если повезет, то «перейдет» к ученику от преподавателя вовсе не строгость, или невинность — ведь люди с нею рождаются. Нет, передать можно лишь уважение, молчаливое благоговение перед тем, чему обыкновенно

[14]Ср. также примечание (23iv), добавленное позднее.

отказывают в какой-либо значимости.

($^{23'}$). Пожалуй, все-таки не единственный. Семь-восемь лет назад в моей жизни как математика появился другой «источник постоянной неудовлетворенности» — правда, выявить его все эти годы было гораздо сложнее. Но, как это бывает, недовольство собой накапливалось, одни и те же истории повторялись, и в конце концов стало ясно, откуда все это исходит. Причиной всему были постоянные неудачи в моей работе с учениками. Чем дальше, тем быстрее я терял надежду поправить положение, так что под конец готов был закричать во весь голос: «Довольно!» С тех пор я решил оставить всякую деятельность, связанную с «руководством научной работой». Раз или два я уже касался здесь этого вопроса и в какой-то момент надумал разобраться в нем более или менее основательно. По крайней мере, я сумел описать это чувство неудовлетворенности и изучить роль, которую оно сыграло в моем «возвращении в математику» (ср. §50, «Груз прошлого»).

($^{23''}$). Этот ученик готовил со мной свой диплом целый год. Работа шла у него неровно: все это время он не мог избавиться от какого-то «напряжения». Это не мешало нашей (мне кажется, искренней) дружбе. И все же, была в нем какая-то нервическая робость. Могло показаться, будто он меня «побаивается» — но, конечно же, дело было совсем не в этом. Я бы, наверное, так ничего и не заметил, если бы он сам не сказал мне об этом однажды — чтобы объяснить, почему весь год ему так трудно давалась работа, словно бы на дороге стоял неодолимый барьер.

Как это бывало и с другими учениками, которые поначалу с увлечением погружались в созерцание той или иной геометрической «сущности», трудности начинались в тот момент, когда заходила речь о более формальной части труда, требующей тщательности и напряжения. То есть о том, чтобы записать черным по белому и по всей форме найденные утверждения или хотя бы попытаться уловить на слух те, которые формулировал я (предлагая принять их в качестве «основы языка», правил игры). «Школярские» инстинкты всегда тянут ученика назад, в привычную ситуацию, когда учитель назначает туманные, но в то же время обязательные правила игры, которые тебе приходится принимать как данность. Разъяснению эти правила не подлежат; стараться их понять — только время убьешь, да и незачем. Как же конкретно выглядели для него эти правила? Например, это могли быть «рецепты» семантики и исчисления в том виде, в каком их предлагают пособия для спецшкол (или любые другие современные учебники). К тому же, ученик всегда получал от преподавателя задачу в форме: «Докажите, что…» — вот вам и весь опыт математического «размышления». (Впрочем, я бы не сказал, что большинство профессиональных математиков, да и ученых вообще, в этом смысле чувствуют себя намного свободнее. В «большой науке» роль учителя играет всеобщее соглашение, которое и устанавливает правила игры — и это, опять-таки, непреложная данность. Это же соглашение определяет проблемы, над которыми ученым положено размышлять. А там уже, конечно, каждый волен выбирать себе задачу по вкусу. Можно даже позволить себе немного изменить ее в ходе работы, а то и выдумать новую — в рамках контекста...) Я уже отмечал, что смотрю на исследовательскую работу совершенно иначе. Ученика же мой совершенно непривычный для него подход, естественно, приводит в замешательство; отсюда — неуверенность, даже тревога. Она идет изнутри, но сам человек склонен искать ее источник где-то «снаружи». Вот почему это замешательство так часто переходит в «страх» перед преподавателем.

Таких трудностей у меня не бывало до семидесятого года — если не считать двух случаев, когда мне не удавалось сработаться с учеником, и мы с ним через несколько недель расставались. Еще, быть может (я не уверен), такая неловкость в свое время возникла между мной и «печальным учеником», о котором я как-то рассказывал. Не исключено, что он чувствовал себя словно бы прикованным к теме, которая его совершенно не увлекала. Впрочем, ничто ему не мешало ее сменить. В те годы у меня был и другой ученик, которого все время нашего общения мучила какая-то робость (о нем я также уже упоминал). Но у него, без сомнения, это было связано с какой-то посторонней причиной. Работа шла у него легко, без напряжения: никакого психологического барьера здесь не было и в помине. Напротив, тема, которую он сам себе выбрал, прекрасно ему подходила: то была работа по заложению основ в новой области математики, и он с ней справился превосходно. Впрочем, почти все мои ученики того периода окончили Ecole Normale, где, как известно, преподавал математику Анри Картан. Поэтому они уже знали, что на свете есть и другой подход к математике помимо «стандартного». Студенты университета Монпелье в этом смысле были полной противоположностью моим прежним ученикам. Там мой подход, как я уже говорил, вызывал у первокурсников неуверенность и беспокойство, которое по меньшей мере заметно влияло на их работу. Впрочем, у многих из них тревоги как раз и не возникало: они удивлялись, но не отступали при виде нового и непривычного, не уходили в себя. Они даже как-то раскрывались, у них загорались глаза: «Отлично, займемся на этот раз чем-нибудь интересным!» По моим наблюдениям, несколько лет, проведенных в университете, влияют на способность студентов к творчеству самым опустошительным образом. Странно, что в этом смысле воздействие многолетнего опыта школьной зубрежки выглядит сравнительно безобидным. Вероятно, это объясняется тем, что мы поступаем в университет в том возрасте, когда врожденная наклонность к творчеству непременно *должна* проявиться в самостоятельной работе — иначе она может погибнуть в нас навсегда. По крайней мере, задохнется свободная мысль, и исследование «в интеллектуальной сфере» станет для нас невозможным. Похоже, что прогуливать почти все занятия в том же самом университете, проводя время за размышлениями о математике «не из учебника», меня в свое время толкал здоровый инстинкт самосохранения.

($^{23'''}$). У этого ученика недовольство и раздражение с самого начала носило какой-то «классовый» характер. В его глазах я был «начальник» — человек, который волен «распоряжаться его судьбой» в математике на свое усмотрение. Разумеется, дальнейший ход событий мог лишь укрепить его в этом убеждении: я не замедлил отказаться от обязанностей научного руководителя по отношению к этому ученику — исполнять их стало исключительно тяжело. Он оказался в непростом положении: в те времена становилось все сложнее найти себе нового руководителя, особенно если человек уже выбрал тему. У другого ученика, который был обманут в своих законных надеждах (я уже упоминал о нем: он написал под моим руководством очень хорошую работу, но в «высшем свете» ее приняли неблагожелательно), обида превратилась в такой же «классовый антагонизм»: кажется, он видел меня эдаким самовластным мандарином, не терпящим возражений со стороны тех, кого он держит за подчиненных — то есть учеников и коллег низшего ранга.

До семидесятого года я не припомню, чтобы такая «классовая позиция» каким-либо образом проявлялась в моих отношениях с учениками. Очевидно, дело в том, что в те времена всякий, защитившись, легко находил себе место профессора в университете. В те годы каждый из моих учеников знал наверное, что он «сравняется со мной по рангу», как только закончит работу. Одиннадцать учеников, начавших работать со мной до 1970 года сразу после защиты диссертации устроились в университеты. Зато ни один из тех двадцати, что позднее работали более или менее под моим руководством, профессорского поста не получил; цифры говорят за себя. Правда, лишь двое из моих учеников «после семидесятого» были настолько увлечены математикой, чтобы взяться за работу над кандидатской диссертацией (которую, впрочем, оба выполнили превосходно).

Итак, нет ничего удивительного в том, что после семидесятого года определенная амбивалентность (при том, что ее истинные истоки еще лежат где-то в неизвестности, скрытые глубоко в душе) развивала в моих новых учениках эдакое «классовое чувство» — как будто инстинктивную настороженность, недоверие к «руководителю». С одним из этих молодых людей, тоже моим учеником в той или иной мере, мы дружили десять лет кряду, ни разу не поссорившись. И все же, между нами, скрываясь за ширмой дружеской симпатии, неизменно вставала все та же странная двусмысленность: что-то оставалось невыясненным, что-то недоговаривалось. Я, впрочем, никогда не обманывался на счет этой, якобы шедшей изнутри, недоверчивости. Мне всегда казалось, что моему другу она нужна как предлог для того, чтобы не переступать определенных границ, которые он сам себе наметил — как в математике, так и в жизни вообще. Конечно, в этом он волен поступать, как ему заблагорассудится, и ни одна живая душа (разве что его собственная…) не вправе требовать от него объяснений.

Впрочем, «учет» на этом кончается: у меня было всего три ученика с ярко выраженной «классовой позицией». Конечно, бывает, что внутри «преподавательского состава» университета между коллегами разыгрывается ссора на «классовой» почве. Это выглядит тем более нелепо, что обе «враждующие стороны» пользуются, по сравнению с простым смертным, невероятными привилегиями; различие в чинах (и в зарплате) на этом фоне практически исчезает. Я заметил, что продвижение по службе всегда, как по волшебству, смягчает в людях «революционные настроения» — наверное, неспроста.

По моим наблюдениям, когда внутри математического мира (да и за его пределами) возникает конфликт, за ним почти всегда стоит некая двусмысленность. Повсюду я видел одно и то же: люди «устроенные» (по заслугам или нет — не так уж важно) пользовались беспримерными привилегиями. Никакая другая профессия или карьера не могла бы им предложить ничего подобного. Те же, кому в этом смысле не посчастливилось, стремились к той же надежности и к тем же привилегиям (это не значит, что математика сама по себе их не привлекала: они вполне могли успешно работать, находить красивые вещи). В наше время, когда конкуренция стала жестокой, а на неустроенных людей принято смотреть, как на эдаких горемык-недотеп, я не раз замечал как будто немой сговор между теми, кому нравится унижать других, и теми, кто сдается и сносит обиды. Ведь для проигравшего истинный объект горечи и озлобления — *не тот*, кто стоит у власти. Скорее, это не кто иной, как *он сам*, сдавшийся, позволивший другому вертеть своей судьбой, как тому заблагорассудится. Тот же, которому доставляет удовольствие унижать своего ближнего, на деле лишь отыгрывается за свои собственные обиды. Он пытается расплатиться (за ценой ему не угнаться: проценты растут…) за то, что сам в свое время перенес от других — что с того, что он успел с тех пор похоронить и забыть свое прошлое? А тот, кто готов терпеть его высокомерие, по природе своей его брат и соперник. Втайне завидуя богатому родственнику, он в своей горечи хоронит и унижение — и ту весточку к самому себе, которую мог бы в нем обрести, с досадой рвет и бросает прочь.

([23iv]). С тех пор, как были написаны эти строки, мне уже довелось побеседовать с двумя бывшими учениками «после семидесятого». С их помощью я надеялся понять, почему наша совместная работа с ними в целом не удалась. Они сказали мне, что я, как правило, недооценивал сложности материала, который предлагал им взять на вооружение. Определенные технические тонкости, привычные для меня, но не для них, давались им нелегко; я, как выяснилось, не отдавал себе в этом отчета. Они же падали духом: им казалось, что они не оправдывают моих ожиданий. К тому же (и это мне представляется еще более важным), я иногда «выбалтывал секреты»: сообщал им готовое утверждение вместо того, чтобы дать им возможность прийти к нему самостоятельно, причем как раз тогда, когда они были уже совсем близки к ответу. Это их разочаровывало: им оставалось лишь доказать утверждение — то есть, выполнить упражнение, а ведь это далеко не так интересно. В том-то и проявлялся мой «недостаток щедрости», о котором я говорил несколько раньше (в примечании (21)). Оба ученика, поделившиеся со мной впечатлениями о нашей совместной работе, в свое время начинали превосходно, но постепенно утратили интерес к математическим исследованиям. Часть ответственности за это (теперь стало ясно, какая именно), безусловно, лежит на мне.

Едва ли щедрости во мне было больше до 1970 г., чем после — это я хорошо понимаю. Если в те годы у меня не возникало подобных трудностей, то дело здесь не во мне, а в учениках. Молодые люди, приходившие работать со мной в те давние времена, были уже достаточно увлечены математикой, чтобы находить радость даже в «длинном упражнении», которое давало им лишнюю возможность изучить ремесло и попутно узнать массу полезных вещей. Всякий раз, когда я им «выбалтывал» *одно* исходное утверждение, они, оттолкнувшись от него, самостоятельно доходили до целой груды новых, куда более мощных. Перебравшись в Монпелье, я, естественно, изменил набор тем, который обыкновенно предлагал ученикам для работы. Теперь я стал выбирать такие объекты в математике, которые, даже не имея технической подготовки, было нетрудно представить себе и «почувствовать». Сделать это было необходимо — но не достаточно. Ведь мои новые ученики были *настроены* совсем иначе, чем прежние. И это оказалось куда существеннее, чем разница в уровне *чисто технической подготовки.* А впрочем, я ведь уже говорил (в начале §25): мне многого недостает, чтобы быть по-настоящему хорошим учителем. После семидесятого года эта нехватка ощущалась особенно остро.

([23v]). Особенно ярко это различие проявилось в «истории с иностранцем», о которой говорится в §24. Многие совершенно незнакомые люди тогда выражали мне свое сочувствие — но я не помню, чтобы кто-либо из моих учеников «до семидесятого» хотя бы словом обмолвился на этот счет, не говоря уже о том, чтобы предложить мне помощь. Напротив, по моим воспоминаниям, никто из моих позднейших учеников не остался в стороне, а некоторые из них даже приняли деятельное участие в кампании, которую я проводил в Монпелье, «на местном уровне». Дело, связанное с распоряжением от 1945 года, взволновало не только моих учеников: многие студенты Университета Монпелье, едва лишь знавшие меня по имени, явились в день суда во Дворец Правосудия, чтобы оказать мне поддержку. Это, между прочим, позволяет предположить, что мои ученики «до 70-го» в этой ситуации вели себя совсем иначе, чем ученики «после 70-го» не только оттого, что те и другие по-разному ко мне *относились*: они просто *мыслили* по-разному. Очевидно, мои ученики «из прежних времен» сделались важными особами; солидного человека задеть за живое не так-то просто... Но история с моим уходом из IHES как будто показывает, что дело не только в этом. В то время они еще не достигли такого высокого положения в научном мире, и все же никто из них на моей памяти не проявил интереса к делу, которому я тогда отдавал все свои силы. Скорее, мое поведение внушало им беспокойство — всем без исключения. Итак, похоже, мои «прежние» и «новые» ученики действительно по-разному смотрят на вещи. Во всяком случае, одним лишь различием в «чинах» всего не объяснить.

([24]). Это не просто этика математического ремесла: она приложима к любой научной среде. Для всякого ученого возможность придать гласности свои результаты и получить признание — вопрос жизни и смерти, и не только для его социального статуса. Речь идет о «выживании» человека как члена данной среды, со всеми вытекающими отсюда последствиями для него самого и для его семьи.

([25]). Кроме этого разговора с Дьедонне, за всю мою жизнь как математика я не помню ни одного случая, чтобы при мне обсуждались в какой бы то ни было форме вопросы профессиональной этики. Сам я не задумывался о «правилах игры» и, кажется, никто из моих друзей об этом не заговаривал. (Здесь я не беру в расчет дискуссий о том, вправе ли ученые сотрудничать с военным министерством. В начале 70-х вокруг движения «Survivre et Vivre» такие разговоры велись в изобилии. Они, однако же, не имели прямого отношения к жизни математиков в рамках научной среды. Многие мои друзья, в том числе Шевалле и Гедж, считали, что в ту пору, особенно поначалу, я придавал слишком много значения «военному вопросу» (к которому я и впрямь был особенно чувствителен), не замечая более насущных проблем — как раз таких, о которых говорится на этих страницах.) С учениками я также никогда об этом не беседовал. Насколько я понимаю, по умолчанию всеми и всюду принималось одно-единственное правило (к которому, собственно, и сводилась этика ремесла): не выдавать намеренно чужих идей за свои. Это соглашение насчитывает века; мне думается, ни в одной научной среде его, вплоть до наших дней, еще никто не оспаривал. Но если не прибавить к нему второго правила, о праве всякого ученого предать гласности свои идеи и результаты, оно становится мертвой буквой. В современном научном мире те, кто стоят у власти, держат в своих руках всю научную информацию. Это — неограниченный контроль: теперь он уже не уравновешивается никаким соглашением, подобным тому, о котором говорил Дьедонне (и которое, возможно, даже в лучшие времена не распространялось за пределы узкого круга математиков). Ученый, занимающий высокое положение в научном мире, получает столько информации, сколько сочтет нужным (а зачастую и сверх того). В его власти не пропустить в печать большую часть работ со словами: «неинтересно», «более или менее известно», «тривиально» и проч. — и, однако же, использовать приобретенные знания с выгодой для себя. Я возвращаюсь к этому в примечании ([27]).

([26]). «Члены-основатели» Бурбаки — это Анри Картан, Клод Шевалле, Жан Дельсарт, Жан Дьедонне, Андре Вейль. Все они живы, кроме Дельсарта, преждевременно ушедшего от нас в пятидесятые годы. В его время этика ремесла, как правило, все еще соблюдалась.

Перечитывая эти страницы, я боролся с искушением вычеркнуть абзац, в котором я будто бы объявляю одних — порядочными, других — бесчестными, не спрашивая, интересует ли их мое мнение на этот счет. А ведь я решительно не вправе здесь никого судить. Настороженность, которую может вызвать у читателя этот абзац, безусловно, оправдана. Я все же его сохранил, заботясь об аутентичности своего свидетельства. Кроме того, этот отрывок правдиво передает мои ощущения, даже если они не слишком уместны.

([27]). Рони Браун как-то пересказал мне слова своего учителя Дж. Г. К. Уайтхеда. Уайтхед удивлялся «снобизму молодых людей, которые считают, что теорема тривиальна, если у нее есть простое доказательство». Многим из моих прежних друзей было бы полезно над этим призадуматься. В наши дни к такому «снобизму» тяготеют не только молодые: я знаю несколько весьма авторитетных математиков, рассуждающих о «тривиальности» именно так. Меня это задевает за живое: ведь лучшее из того, что я сделал в математике (да и в жизни вообще...), по этой логике становится «тривиальным». Самые плодотворные (на мой взгляд) из тех структур и понятий, которые я за все эти годы ввел в математический обиход, их наиболее существенные свойства, которые мне удалось установить упорным, терпеливым трудом, — все это просто, все «тривиально». (По всей вероятности, в наши дни ни одна из моих находок не попала бы в CR, будь ее автор начинающим математиком!) Моя гордость в математике, а вернее — моя страсть и радость, всегда заключалась в умении *обнаруживать очевидное*; к этому я и стремился всю жизнь в своих занятиях. Страницы этой книги (вместе с настоящей вводной главой) — отнюдь не исключение. Зачастую все решает то мгновение, когда ты видишь *вопрос*, которым еще никто не задавался (найден ли ответ, и каким он будет — не так уж важно) или когда ты приходишь к *утверждению* (пускай лишь гипотетическому), которое полностью описывает совершенно новую математическую ситуацию. И тогда уже не имеет особого значения, простым или сложным окажется доказательство. Даже если поначалу, на скорую руку, ты набросаешь его неверно — пустяки, это не главное. То, о чем говорил Уайтхед — это снобизм пресыщенного гуляки, который в гостях не отведает вина, пока не убедится, что оно дорого обошлось хозяину. В последние годы, заново охваченный забытой было страстью к математике, я не раз предлагал моим прежним друзьям разделить со мною лучшие из моих находок — но лишь с тем, чтобы услышать в ответ голоса пресыщенности и безразличия. Отказ причинял мне боль; где-то в глубине она еще не утихла. Воспоминания о тех невеселых минутах по сей день обдают меня холодом, и дразнят ушедшим теплом обманутой радости. Ну что же, я ведь из-за этого не остался на улице, у меня есть крыша над головой. Я же не пытался, слава Богу, пристроить свои работы в какой-нибудь почтенный журнал.

Снобизм, о котором говорил Уайтхед, убивает в людях чувство красоты — но этого мало. Снобизм авторитетного математика по отношению к безвестному коллеге, во всем от него зависящему — это еще и бесчестность, злоупотребление властью. А власть нешуточная: она позволяет усвоить и использовать в дальнейшем чужие идеи, при этом совершенно преградив им дорогу к публикации. Предлог известен: они, дескать, «очевидны», «тривиальны», и потому «не представляют интереса». Я не говорю здесь о плагиате в общепринятом смысле этого слова: это уже крайний случай. Вероятно, плагиат как таковой до сих пор встречается в математической среде чрезвычайно редко. Однако же с практической точки зрения для того, чьи идеи попали в чужие руки, все сводится к тому же — да и нравственная позиция человека, решившего их судьбу, так или иначе представляется мне довольно сомнительной. Она просто удобнее: разом обеспечивает тебе и чувство бесконечного превосходства над своим ближним, и незапятнанную совесть в образе неумолимого защитника безупречной чистоты Математики… А в остальном, разница невелика.

([28]). Когда я писал эти страницы, особенно вначале, меня разрывали два противоположных стремления: с одной стороны, мне не терпелось выложить все начистоту, с другой — я ведь должен был заботиться и о сдержанности, скромности в изложении. Я находился меж двух огней (ясное дело, отсюда и неловкость), и никак не мог избавиться от мысли, что я «так ничему и не научился». Меня мучило чувство внутреннего неудовлетворения; кажется, несколько предыдущих страниц я успел переписать дважды. По ходу дела я все сильнее запутывался в этом клубке неясных ощущений, но в конце концов все же приблизился к сути вещей, а попутно и в самом деле «чему-то научился». Думаю даже, что мне удалось прийти к чему-то важному, в известном смысле обобщающему мой собственный опыт — и, пожалуй, далеко выходящему за его рамки.

([29]). Я говорю здесь о том, что происходит, если долгое время отдаешь все свои душевные силы математике или любой другой чисто умственной деятельности. Но страсть, которая так или иначе ведет нас к источникам знания, скрытым внутри нас самих, может и в самом деле наградить нас духовной зрелостью. В погоне за мечтой, в попытке нащупать сквозь туман очертания какой-нибудь близкой нам по духу и вечно ускользающей сущности, нам нет-нет да и выпадет случай узнать кое-что о себе. Тогда наше самоощущение обновляется, и это само по себе прибавляет нам зрелости.

([30]). Несколько лет назад эстафету переняли мои дети. Теперь им приходится учить подчас несговорчивого ученика тайнам человеческого бытия...

([31]). Я думаю, здесь речь идет о «мужественной» («ян») стороне стремления к познанию — о том, что зовет нас искать, открывать, называть то, что является взгляду... Получив *имя*, мечта, захваченная в плен, уже не может вернуться в ничто (даже если в реальном мире новое знание сразу же похоронят, забудут, если за ним не пойдут к новым открытиям...). Форма «инь», женская — в открытости, в восприимчивости, в молчаливом ожидании знания, зреющего в самых сокровенных пластах нашего бытия; доступ мысли в эти края заказан. Открытость, а с ней внезапное прозрение, которое дарует согласие и лечит душевные раны, тоже приходят, как милость. На первый взгляд мимолетная, она, однако, затрагивает в душе глубокие струны. В эти редкие моменты какое-то знание без слов осеняет нас — и мне кажется, оно остается с нами, не в памяти, а где-то еще глубже, у самого дна души.

([32]). Во времена, когда я еще занимался функциональным анализом, то есть до 1954 года, мне случалось подолгу и безрезультатно биться над одним и тем же вопросом. Исчерпав все свои идеи и не зная, как двигаться дальше, я все же упорствовал — и ходил кругами, в целом не двигаясь с места, хоть и видел, что там уже давно «не клюет». Так у меня было с «проблемой аппроксимации» в топологических векторных пространствах, с которой я мучился целый год. Разрешили ее лишь двадцать лет спустя, применив методы, о которых я не мог иметь представления в пятидесятые годы. Я ломал голову над этой проблемой не из настоящего желания узнать, а из пустого упрямства, не понимая толком, что же со мной происходит. То был тяжелый год — а ведь математика никогда до тех пор не бывала для меня в тягость. Этого опыта мне хватило, чтобы понять, что подолгу «томиться» над одной и той же задачей не имеет смысла: как только ты заметил, что работа застопорилась, нужно бросать ее и браться за что-то другое. Когда придет время, можно будет вернуться к этой задаче. Как правило, подходящий момент не заставляет себя ждать: просто вопрос должен сначала созреть сам по себе, без твоего непосредственного вмешательства. Достаточно того, что ты продолжаешь с воодушевлением работать над чем-то другим, пусть даже (на первый взгляд) весьма далеким от исходной темы. Я убежден, что, не отложи я тогда этой задачи, я не разрешил бы ее и за десять лет! С 1954 года я завел себе привычку заниматься параллельно несколькими вещами, держать сразу много подков на огне. В каждый момент я работаю лишь с одной, но при этом всякий раз случается чудо: всем прочим, казалось бы, лежащим без дела, мой труд неизменно идет на пользу. Точно так же у меня всегда было с медитацией, хоть я и не добивался этого нарочно. По мере того, как размышление продвигалось, накапливались жгучие вопросы, требующие скорейшего разрешения; число их росло день ото дня…

([33]). Это не значит, что те минуты, когда обходишься без пера и бумаги (или доски и мела, что то же), не важны для математического труда. Так бывает прежде всего в те «тонкие моменты», когда ты должен прочувствовать только что осенившую тебя интуитивную догадку, представить ее себе в общем контексте, «познакомиться» с нею непосредственнее и глубже, чем это возможно в «практической», поэтапной работе. Тщательный труд с пером и бумагой придет в свой черед: такое «неформальное» размышление как раз готовит для него почву. Размышляю я обычно перед сном или на прогулке. Времени на это уходит сравнительно немного: «формальная» математическая работа в этом смысле куда более емкая. В медитации (у меня, по крайней мере) все идет точно так же.

([34]). «Объятие» здесь — отнюдь не метафора. Значение этого слова в повседневном языке отражает суть явления как нельзя лучше. Можно было бы возразить, и вполне резонно, что земля бы, наверное, давно обезлюдела, будь объятия без восхищения и в самом деле так уж бессильны. Крайний случай здесь — изнасилование: восхищения в нем, конечно же, нет, но ведь женщина может родить от насильника. Спору нет, такие объятия должны оставить след в душе ребенка, от них рожденного: «набор» свойств, который он примет, вступая в мир, отмечен недоброй печатью. И все же зачатие произойдет, новое существо появится на свет — это ли не признак *мощи*, это ли не *творчество*? А разве мне самому не случалось видеть, как тот или иной математик, с ног до головы переполненный самомнением, формулировал и доказывал красивые теоремы — знак того, что объятия не так уж некрепки! Однако же, верно и то, что ученому, задыхающемуся под напором собственного самолюбия (как это однажды было со мной), объятия с наукой не принесут радости, да и пользы от них будет немного. То же можно сказать об отце и матери ребенка, родившегося от изнасилования. Говоря о «немощных объятиях», я имел в виду прежде всего то, что они бессильны принести *обновление* человеку, который думает, что он творит — в то время как он лишь *производит* механически, без души. Он получает продукт, который не несет ему свободы и гармонии, но лишь теснее связывает его с самодовольством, и без того держащим его в плену. Пока человек не сбросит этих уз, он раб, и его повинность — производить и воспроизводить без конца. Бессилие пленника прикрывается мнимой *творческой мощью*, но обман легко разоблачить. По сути эта ширма — обыкновенная *производительность* холодной машины, без удержу, без предела.

Я не раз убеждался в том, что напыщенный, разучившийся восхищаться ученый часто ведет себя, как слепой: природное чутье начинает ему изменять. И тогда с удивлением видишь, как тот или иной авторитетный математик вдруг оказывается глупее последнего тупицы со школьной скамьи — даже в том, в чем он в свое время особенно отличился! Конечно, иногда он по-прежнему проявляет чудеса технической виртуозности. Сомневаюсь, однако, что он все еще способен открыть вещи простые и очевидные — достаточно существенные для того, чтобы основать новую область или принести обновление целой науке. Ведь они лежат под ногами — слишком низко, чтобы он удостоил их взгляда! Чтобы видеть то, на что никто не удосуживается взглянуть, нужна невинность, которую он утратил или прогнал от себя... И, конечно, не случайно, что при необычайном росте математической продукции за последние двадцать лет, при ошеломляющем изобилии новых результатов, которое захлестнет тебя с головой, если возьмешься хоть как-нибудь в нем разобраться, — что, несмотря на все это, ни в одной из крупных областей математики, насколько я могу судить, так и не произошло настоящего *обновления*. Обновление — не количественное понятие; его нельзя измерить численным вкладом: в математико-днях, посвященных данной теме такими-то математиками такого-то «уровня». Миллионы математико-дней бессильны породить такую нехитрую штуку, как «нуль», с появлением которого наше представление о числе совершенно преобразилось. Одна невинность на это способна; видимый ее признак

— восхищение.

([35]). Этот «дар» — не чья-то особая привилегия; мы все с ним родились. Если я не умею восхищаться, значит, я сам прогнал от себя этот дар, и мне остается только принять его заново. У одних людей этот дар проявляется ярче, так, что передается окружающим тут же, не устоишь; у других (как у меня) — бледнее, менее заразительно, быть может. Но он есть, и я уверен, что он не пропадет понапрасну.

([36]). Такая тонкая чувствительность к красоте, мне кажется, сродни еще одной вещи, о которой я как-то уже говорил. Тогда я называл ее «требовательностью» (по отношению к себе), или «строгостью» (в полном смысле этого слова). Я описывал ее как «внимание к чему-то тонкому, хрупкому внутри нас», к *пониманию*, постепенно растущему в душе. Ведь самое качество понимания той или иной вещи в математике — именно в том, насколько непосредственно, насколько совершенно мы воспринимаем ее красоту.

([37]). Надо ли говорить, что эта долгая работа день ото дня приносила мне новые находки помимо самого «результата», который я только что изложил в несколько слов? Так всегда бывает и в медитации, и в математике: займешься каким-нибудь конкретным вопросом — попутно узнаешь много вещей со стороны. И нередко такие дорожные происшествия (независимо от того, ведут ли они тебя к ответу на исходный вопрос) оказываются интереснее, чем то, с чего ты начинал, и даже чем «окончательный результат».

([38]). В действительности, эти записки были продолжением длинного «Письма к ...». Собрав записи в книгу, я поставил его первой главой. Они были отпечатаны на машинке, чтобы их мог прочесть этот мой давний друг — и еще двое-трое знакомых (прежде всего Рони Браун), которых, как я думал, это могло бы заинтересовать. Впрочем, я так и не получил ответа на письмо: адресат его попросту не прочел. Позднее, почти год спустя, я спросил его, получил ли он это письмо. Он ответил утвердительно и, казалось, с искренним недоумением: он не понимал, как мне могло прийти в голову, что он станет его читать. Дескать, известно же, какого рода «математику» можно было от меня ожидать...

([39]). Это был один из этапов «Долгого похода сквозь теорию Галуа», о котором говорится в «Наброске программы» (§3: «Числовое поле ассоциированное с детским рисунком»).

([40]). Размышляя над этим сном, я написал (по-английски) длинное письмо одному из своих прежних друзей-математиков, в те дни заглянувшему ко мне мимоходом. Я не виделся с ним почти десять лет, и эта встреча с дорогим, давним другом навеяла мне немало мыслей и воспоминаний. Некоторые из них, безусловно, помогли мне в работе: по ним, как по ступенькам, сон поднялся из небытия и вернулся ко мне таким живым и настоящим, что дух захватывало. Случилось так, что в первый день работы я, вопреки всему своему предыдущему опыту, вообразил, будто явившаяся мне греза предназначалась не мне, а моему другу. Я рассудил, что *он*, а не я, должен воплотить эту мечту! Но таким образом я лишь пытался переложить ответственность за будущее мечты на чужие плечи. Весть пришла ко мне, на конверте был написан мой адрес — а я всерьез собирался подбросить его соседу. В конце концов я это понял — через ночь после того, как первый, весьма поверхностный этап моей работы, все-таки завершился. На другой день я вернулся к своим размышлениям и продолжил письмо. Его адресат, когда-то один из самых близких моих друзей, с тех пор ни разу не навещал меня и не писал мне.

Это была для меня особенная, единственная в своем роде медитация — в письме, да еще по-английски! Сейчас я не смог бы в точности восстановить ее ход: письмо я отправил, так что никаких записок не сохранилось. Я не раз убеждался в том, что малейшее упоминание о работе, выходящей за некие общепринятые рамки, часто сбивает с толку и даже пугает людей. Казалось бы, в таком труде нет ничего необычного: он открывает дорогу к самым простым, очевидным вещам. Но есть факты, которые большинство людей считают своим долгом не замечать; заговорить о них вслух — верный способ вызвать всеобщее замешательство. Эта история с письмом-размышлением — на мой взгляд, один из самых ярких тому примеров. Я возвращаюсь к этому позднее (см. §47, «Путешествие в одиночестве»).

([41]). Сказать, что из чтения Кришнамурти я не извлек для себя ничего, кроме набора красивых слов и надуманной позы, заслонившей от меня живую реальность, было бы не совсем точно. Первая же книга Кришнамурти, попавшаяся мне на глаза, меня по-настоящему поразила (хоть я и прочел из нее всего лишь несколько первых глав). Она перевернула с ног на голову мои представления о мире, которые я всегда считал само собой разумеющимися. И я понял, что в моем кругу они с незапамятных времен представляли собой *общее место* — сам того не замечая, я просто вдыхал их вместе с воздухом. В то же время эта книга впервые заставила меня обратить внимание на некоторые чрезвычайно важные факты: в первую очередь на то, что в нашем сознании работают механизмы, побуждающие нас бежать от реальности, и мощное действие этих двигателей рассудка можно наблюдать повсеместно. Это дало мне необходимый ключ к пониманию ситуаций, до тех пор неизменно ставивших меня в тупик и (как я понял пятью-шестью годами позже, с открытием медитации) тем самым рождавших во мне тревогу. Оглядевшись по сторонам, я тут же убедился в том, что так оно и есть: люди и впрямь бегут от действительности. В какой-то мере это наблюдение принесло мне душевный покой, но по сути ничего не изменилось: ведь все, что я видел, я видел в других, а не в себе. Я воображал, будто во мне (естественно, а как же иначе) ничего этого нет, считая себя эдаким исключением, подтверждающим правило (и нимало не задумываясь о том, откуда же берутся столь примечательные исключения). Во мне не было настоящего любопытства к тому, что происходит в человеческой душе, в том числе и в моей собственной. «Ключ», который я позаимствовал у Кришнамурти, в моих руках не мог ничего *открыть*: ведь у меня не было истинного, горячего желания проникнуть внутрь. Он стал для меня лишь удобной игрушкой, подспорьем в словесных упражнениях, а для моей новообретенной позы — неотъемлемым атрибутом.

И лишь в начале 1974 года я впервые согласился признать очевидное: что раздорам и разрушениям в моей жизни, столько лет следовавшим за мной по пятам, не могли быть причиною *только* другие. Что-то *во мне* должно было служить им источником, поддерживать их, навлекать на меня беду со стороны. В тот момент, раскрыв, наконец, глаза и отказавшись от мифов о своем духовном величии, я был готов принять обновление. Но я еще не мог далеко продвинуться на этом пути: я не знал, что для этого нужно *трудиться*. Я не сумел тогда нащупать и описать словами это «что-то во мне», истинный источник моих несчастий. Точнее, я понимал: моя беда в том, что мне не хватает любви. Но то было лишь неясное ощущение недостатка — что это за любовь, как именно она изменила бы мою жизнь, я не мог догадаться. Ответ на эти вопросы могла дать только работа, но тогда мне это и в голову не приходило. Советы не помогли бы: никто вокруг меня и не помышлял о таких вещах, да и в книгах, включая Кришнамурти, об этом не говорилось. (Напротив, К. предпочитал настаивать на тщете любого труда, автоматически отождествляя его с «желанием стать, а не быть».) Итак, с моей заимствованной «мудростью» в роли всесведущего проводника, мне оставалось лишь одно: терпеливо ждать, когда «любовь» сама снизойдет на меня с небес, как милость Господня.

Вконец обессиленный, я ждал; энергия души иссякла, волна пошла вниз. Но спад влечет за собой подъем: ведь я узнал о себе самом скромную истину, которая оказалась источником новых сил и вскорости вынесла меня на гребень новой волны — едва ли не столь же мощной, как та, что два с половиной года спустя увлекла меня с собою в мою первую медитацию. Через несколько месяцев, когда спасительный случай приковал меня к постели, я стал задумываться о многих вещах (и записывать свои мысли). Тогда я впервые пересмотрел свои представления о мире, на которых основывались мои отношения с людьми вокруг. Это были взгляды, которые перешли ко мне от родителей (в первую очередь, от матери); прежде я никогда не пытался выразить их словами.

Поразмыслив об этом, я ясно понял, что представления эти оказались несостоятельными: они не соответствовали действительности, не знали развития и движения и заведомо не могли служить прочной основой для моих отношений с другими. Правда, рассуждал я все еще «в духе Кришнамурти», на том же языке и опасаясь каких-либо усилий на пути к пониманию — настоящего *труда* в этом не было. И все же, кое-что для меня тогда прояснилось: то, о чем я несколько месяцев назад лишь смутно догадывался, облачилось в слова и стало знанием — вернуться к прежнему неведению я уже не мог. Это знание я никогда не почерпнул бы из книг, и никто на свете не мог бы мне его передать.

Для того чтобы перейти в медитацию, моему размышлению не хватало тогда вполне определенных черт. Исследуя свое представление о мире, я позабыл бросить взгляд и на свое *представление о себе самом*, пересмотреть более полную систему аксиом, в которой я сам фигурировал бы «во плоти». Но этого мало: медитируя, всегда держишь в поле зрения себя самого в *настоящий момент*, следишь, как чувства сменяют друг друга в твоей душе по мере того, как бежит раздумье. Если бы я научился этому тогда, в 1974 году, я тут же заметил бы и влияние чужого стиля, и даже потворство собственным слабостям (в буквальном смысле), пронизывавшее мои записки: из-за этого в них не хватало искренности, естественности. Однако это размышление, несмотря на все его недостатки (и на то, что в моих отношениях с другими оно само по себе не многое изменило), представляется мне важным этапом, отправной точкой на пути к обновлению. Два года спустя я пошел именно по этой дороге и продвинулся намного дальше. Тогда-то я и открыл медитацию, внезапно столкнувшись с тем обстоятельством, что *во мне самом есть нечто неизвестное* — и оно звало за собой. Оказалось, что в моей собственной душе есть вещи, которые можно открывать и исследовать, и эта новость определила течение моей жизни на много лет вперед. И в то же время сама природа моих отношений с людьми ожила и стала преображаться…

([42]). Обстоятельства были и впрямь «чрезвычайные»: в конце 1969 года я вдруг узнал, что мой институт (с которым я к тому моменту сроднился так, что чувствовал себя от него неотделимым) частично финансировало министерство обороны. С моими тогдашними (да и нынешними) представлениями о морали это было несовместимо. Вслед за этим событием чередой явились другие, и каждое открывало мне глаза на то, что творилось у меня под носом. В конце концов я ушел из IHES: причин накопилось достаточно. И постепенно мой круг общения, как и род занятий, переменились до неузнаваемости.

В те памятные годы, когда IHES еще только зарождался как научная организация, Дьедонне и я были единственными его членами. Мы вдвоем обеспечивали ему аудиторию в научном мире: Дьедонне издавал «Математические записки» (первый том вышел в 1959 г., на следующий год после того, как Леон Мочан основал IHES), а я проводил «Семинары по алгебраической геометрии». Положение института в первые годы его существования было весьма ненадежно: не было ни постоянного источника средств (IHES держался тогда лишь щедростью нескольких компаний-меценатов), ни помещения — если не считать зала, который нам (с видимой неохотой) предоставляла на дни семинара Fondation Thiers в Париже[15]. Я чувствовал себя, вместе с Дьедонне, как бы «научным соучредителем» IHES и всерьез собирался до конца своих дней трудиться под сенью нашего института. Я просто жил его жизнью — но когда для меня начались времена невеселых откровений, никто из коллег не разделил со мною моих тревог: все, что я говорил и делал, в институте принимали равнодушно, если не настороженно. Решив уйти из IHES, я переживал это событие, как отречение от своего второго «я». Но позднее я понял, что этот разрыв принес мне освобождение.

Сегодня, оглядываясь назад, я вижу, что в то время я уже начинал испытывать потребность в обновлении — с каких пор, сказать не берусь. Не случайно за год до ухода из IHES я в один прекрасный день совершенно забросил математику (оставив неразрешенными задачи, так увлекавшие меня накануне) и ударился в биологию. (Произошло это под влиянием моего друга-биолога, Марсеа Димитреску.) Я думал заняться этим всерьез: духу нашего института, его многонаправленности, мой выбор как будто вполне соответствовал. Но моих проблем, по сути, он разрешить не мог. Жажда обновления искала выхода — и не могла найти его в обстановке «научной парильни». Я должен был покинуть IHES, чтобы ступить на путь «пробуждений» — от одного к другому, словно бы по ступеням высокой лестницы. Их было семь (последнее — в 1982 году). В этом смысле история с «военными фондами» оказалась подарком судьбы, ведь именно она повлекла за собой первое «пробуждение» из этой цепочки. Выходит, я в долгу у военного министерства, да и мои бывшие коллеги по IHES заслужили все права на мою признательность!

([43]). Эти стихи — о том, что я знал не понаслышке, но глубоко прочувствовал сердцем. Вещи, о которых в них говорилось, и по сей день представляются мне столь же важными для моей жизни, да и для «жизни вообще», как и в тот момент, когда я писал их, думая опубликовать. Если позднее я отказался от этой мысли, то в первую очередь потому, что увидел, как пострадала форма моего сочинения от того, что я на-

[15]Нико Книпер любезно переслал мне брошюру, недавно выпущенную в IHES и посвященную двадцатипятилетию со дня его основания. В ней, однако, ни слова не говорится об этих непростых временах — о том, как все начиналось. Должно быть, составители брошюры сочли эти подробности недостойными столь торжественного события, с большой помпой отмеченного в прошлом году.

рочно старался ее «украсить». Замысел, в целом, был слишком сложен, местами стихи особенно грешили надуманностью — так, что слова на бумаге словно бы застывали в напыщенной неподвижности. Эта выспренность, безусловно, шла от хозяина: на сей раз он вел в танце, и так неуклюже…

([44]). Разумеется, я здесь не учитываю возможности, которой отнюдь не следует исключать: внезапной развязки ядерной войны, или другой маленькой радости в том же роде. Такое событие грубо, раз и навсегда, оборвало бы общую игру по имени «Математика» — да и все прочие беспечные забавы.